ЛЕОНИД БЕЖИН

ГРОТ, ИЛИ МЯТЕЖНЫЙ МОТОГОН

Леонид Евгеньевич Бежин

Грот, или Мятежный мотогон

Серия «Городская проза»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62788296
Грот, или Мятежный мотогон: Издательство АСТ; М.; 2020
ISBN 978-5-17-133337-9

Аннотация

Девяностые годы. В маленький городок на Оке возвращаются из заключения бывшие прихожане отца Вассиана, взятые им на поруки, – Вялый и Камнерез. В этот же день из Петербурга приезжает главный герой романа Евгений Филиппович Прохоров, философ и богослов, сторонник эзотерического христианства, призывающий к новому прочтению Библии и постижению ее тайного языка. Этим четверым по ходу действия суждено столкнуться в смертельной схватке…

Содержание

Часть первая 10
Глава первая 10
Глава вторая 15
Глава третья 20
Глава четвертая 25
Глава пятая 30
Глава шестая 36
Глава седьмая 43
Глава восьмая 49
Глава девятая 56
Глава десятая 59
Глава одиннадцатая 64
Глава двенадцатая 69
Часть вторая 75
Глава первая 75
Глава вторая 80
Глава третья 85
Глава четвертая 92
Глава пятая 98
Глава шестая 102
Глава седьмая 106
Глава восьмая 110
Глава девятая 116

Глава десятая 125
Глава одиннадцатая 130
Глава двенадцатая 137
Часть третья 142
Глава первая 142
Глава вторая 148
Конец ознакомительного фрагмента. 153

Леонид Бежин
Грот, или
Мятежный мотогон

© Текст. Леонид Бежин, 2020
© Оформление ООО «Издательство АСТ»

* * *

Памяти Евгения Сергеевича Полякова

Жестокое, тупое, зверское убийство в Бобылеве потрясло не только сам городок – один из многих маленьких, дремотных, зачарованно-тихих городков, опрокинувшихся отражениями на зеркальную гладь Оки, но и всю округу вплоть до Серпухова. Гром прогремел и отозвался дальними, глухими раскатами. В соседних с Бобылевым деревеньках, да и в самом Серпухове, на всех углах перешептывались, крестились, ужасались содеянному. Убитого, как водится, жалели, прочили ему Царство Небесное, но кто он и откуда, даже как его звать, точно сказать не могли. По словам одних, тутошний, здешний, другие же уверяли, что приезжий, из Москвы, из Ярославля, из Саратова. Кто-то надсадно кричал – доказывал, что из Вологды.

Далась же ему эта Вологда – именно потому, что далекая, вона где…

Впрочем, духовенство что-то знало и предпочитало молчать, не распространяться, попусту не множить слухи. Хотя похоже, что предпочитало жалеючи, со скорбными лицами. Все-таки смерть того заслуживает, а там кто разберет, кому случившееся в скорбь, а кому в тайную радость.

Панихиду по убитому не служили – ни на третий, ни на девятый, ни на сороковой день; не объясняя причин, воздерживались, уклонялись…

За девяностые годы к убийствам в народе привыкли. Не удивлялись, когда убивали богатеньких – тех, что выперли, как грибы из-под лесного наста, или местная братва во время разборок рядами укладывала соперников, чтобы их затем с завыванием духового оркестра, венками и почестями хоронили в массивных лакированных гробах, окутанных дымом кадильниц.

Но все отказывались верить, что перерезать горло (убитому, по рассказам, именно перерезали горло), в сущности, могли каждому, не замешанному ни в каких разборках, не имевшему несчастья баснословно разбогатеть, наголо обрить голову, обзавестись мерседесом с бронированными стеклами, охраной и «красным пальто до самых ног», как тогда говорили.

Нет, сия плачевная участь, оказывается, выпадала и прочим, имевшим «бедствующую и худую» руку, мусолившим

последние рубли до зарплаты, как во времена нерушимого союза.

Впрочем, в оные времена – надо отдать им должное – зарплата еще была, исправно выплачивалась (за ней цепочкой стояли к окошечку). Но затем для многих ее не стало – уплыла, сгинула, – так что и мусолить оказалось нечего. И уж тем более не было повода брить голову, шить красное пальто – какое там! Носили все те же круглые очки (очечки) и бородку. Словом, на бухгалтерском языке (распространенном в девяностые), числились по правой колонке, по статье *крЕдит* или убыток, то бишь пополняли ряды нищей интеллигенции, пролетариев умственного труда.

Интеллигенцию же из автоматов не косили – кому она нужна, а тут ножом полоснули по горлу. Жуть!

Первым труп обнаружил полупомешанный нищеброд и дворомыга Гиви, ночевавший на берегу Оки, под перевернутой лодкой. Он завизжал от ужаса, куснул себя за палец и бросился к знакомому сторожу Клавдию (получил имя в честь римского императора) – поведать о случившемся. Тот самолично глазеть на труп не стал (мертвяков боялся) – прямиком в милицию: так, мол, и так… Доложил.

На место происшествия срочно выслали наряд на двух мотоциклах: сообщение подтвердилось. Из отделения тотчас позвонили в Серпухов, оповестили прямое начальство и прокуратуру, вызвали следователей. А там дошло и до Москвы…

Словом, закрутилось.

Дело расследовали долго, кропотливо, с дотошностью. Как-никак убийство, совершенное с особой жестокостью. Да и Москва на горизонте маячит: высоко сижу, далеко гляжу. Сначала взяли двоих – те почти и не отпирались, а затем нашелся третий подозреваемый, который сразу и сознался. Не без достоинства, надо сказать, с покаянным смирением, опущенной головой взял на себя вину. Во всяком случае, так рассказывают…

Словом, все было ясно – кроме причины. По какой причине, собственно, произошло убийство. Вернее, по мнению следователей, причины-то никакой и не было – во всяком случае, причины настолько весомой, чтобы из-за нее убивать. Хотя некоторые из опрошенных – образованная публика – утверждали, что причина была, и даже приводили как доказательство исторические, вековой давности примеры.

Это окончательно запутало и смазало дело. Его с трудом довели – доволокли, дотащили – до суда. Судебное заседание хоть и проходило не при закрытых дверях, но без наплыва журналистской братии и любопытствующих, с присутствием духовных лиц. Да и сознавшийся – третий – подозреваемый сам был лицом духовным, хотя и с богатым прошлым.

И, что совсем уже странно и даже дико, свидетели – те, что из образованной публики, – во время суда поговаривали о двойном убийстве – по Достоевскому. Это уж вовсе литература – если не в духе самого Федора Михайловича, то в

духе девяностых, где на двойных, тройных, четверных убийствах все замешено.

Поэтому председательствующий на суде это обстоятельство к рассмотрению не принял. Не хватало еще, чтобы у нас в судах объявились свои Карамазовы, а вместе с ними и сам черт – этот известного сорта русский джентльмен – наследил, напачкал своим копытом…

Часть первая

Глава первая
Отпускают на поруки

В самом начале апреля 199… года, когда до Благовещения оставалось три дня, отец Вассиан Григорьев получил конверт с письмом из прокуратуры. Он выпал ему на большие ладони с незаживающими рубцами и мозолями из синего почтового ящика (открывался снизу), прибитого к калитке.

Пролежал в нем два дня, отсырел и набух.

Отец Вассиан просушил его, приложив к изразцовой печке, отчего бумага запахла ванилью, и положил на стол обратным адресом – прокуратурой – вниз.

Осевший снег за окном грязновато серел и расползался, как свалявшееся солдатское одеяло. Кряжистый дуб возле храма (придел Святой Троицы закрыли из-за обрушившейся крыши и выбитых окон) посверкивал оттаявшим льдом в извилистых бороздках коры.

Ока посуровела, как Ярое Око. Она вздыбилась, выперла ребра толстых льдин, вскрылась, понемногу очистилась, и пустили паром – бороздить бескрайние просторы. Опять тот же паром, старый, допотопный (похожий на Ноев ковчег),

рассохшийся, с осевшей кормой и колесами, шлепавшими по мутной воде лопастями.

Пока конверт лежал на столе, у отца Вассиана обозначилась чернота между сомкнутыми (стиснутыми от напряжения) губами – признак безотчетного тревожного надсада. Он отер ладонью щеки и лоб, словно желая согнать с них выступившую рябину. Взметнул рыжеватые треугольники бровей, изобразив лицом подобающую случаю значительность, смешанную с невольным страхом.

Крякнул, охнул и взялся за поясницу: аж стрельнуло.

Затем походил по комнате, потоптался, покружился на месте, как тетерев на току. Постоял у окна, глядя, как по Оке медленно, грузно, с черепашьей скоростью движется, шлепает лопастями по воде Ноев ковчег, осевший от тяжести груза и пассажиров (некоторые переправлялись на лодках: хоть и дороже, но быстрей).

Отец Вассиан истово, размашисто перекрестился перед иконами – что твой кряжистый дуб, раскинувший на ветру узловатые ветки. Поправил – выпрямил – свечку в подсвечнике. Вытер налипший на пальцы воск о полу подрясника.

Сам распечатывать конверт не стал – остерегся. Руки, было, потянулись, но он их отдернул. Позвал жену, матушку Василису, стучавшую в соседней комнате на пишущей машинке (перепечатывала его недавно законченные «Заметки о вере»).

– Выдь-ка на минутку. После достучишь. Глянь-ка, что

пишут. Прочти мне.

– Обожди, хоть страницу закончу.

– Какая ж страница?

– Та, где о Троице.

– А, эта важная. Святое дело. Достучи.

Отец Вассиан сел, чтобы не стоять, не маячить перед окном (среди соседей находились любители в окна заглядывать). Но как-то было невмоготу, и он встал, чтобы не сидеть.

– Все, что ли? – спросил жену с нетерпением.

– Экий ты. Вот из-за тебя ошибку ляпнула.

– После забелишь. Прочти. – Отец Вассиан уже достал ножницы из шкатулки (с нитками и иголками), чтобы вскрыть – взрезать по краешку – конверт.

– А сам что?

– А то, что оробел. Замешкался, гмыря.

– Ну-тка! С чего бы?

– Так прокуратура ж…

– А-а-а. Добрались до тебя. Дознались о твоей дружбе с братками-уголовничками. У тебя полприхода с судимостями. – Матушка Василиса вошла в настроение, в настроении же не прочь была и пошутить. – Вот прокурор-то тебе соли под зад всыплет для вразумления.

– Не шуткуй. По частям тела особливо не прохаживайся. Имей почтение к сану. – Отец Вассиан помолчал с таким видом, словно ему было что добавить к сказанному. – «Нынче будешь со Мной в раю». Кому сказано? Разбойнику сказано.

Да я и сам по молодости зоны нанюхался. Читай письмо.

Матушка Василиса, слегка засуетившись оттого, что ее попрекнули (надеялась усердной перепечаткой рукописи снискать себе безупречную репутацию), торопливо вскрыла ножницами конверт. Она сгребла со стола в руку клочки бумаги, спрятала в карман фартука и стала про себя читать, перебегая глазами от строчки к строчке.

– Ну, что там? – Отец Вассиан не вытерпел, меж тонких губ вновь пролегла извилистая чернота.

– Пишут, что отпускают твоих-то. Вялого и Камнереза. Тебе на поруки, как ты и просил. А то тебе хлопот без них мало.

Отец Вассиан не то чтобы не поверил, но все же немного усомнился. Поэтому взял у жены письмо и сам прочел.

– Отпускают. Чудеса.

– Да не чудеса, а власть к церкви теперь помягчела. Усовестилась. На уступки пошла. А то ты не знаешь. Меня вон бабы у колодца, как с праздником, поздравляют. Говорят, что к прежнему охальники уже не вертанутся, что теперь заживем. Все, что порушили, восстановим, заново освятим. Придел Святой Троицы отремонтируем, служить начнем. – После попрека она старалась подольститься к мужу.

– На какие шиши отремонтируем? Патриархия ни копейки не даст. Только последнее заберет. На пожертвования? Тут мне, правда, пообещали… – Он не стал распространяться, чтоб не сглазить, прикусил язык.

– Смотря кто жертвует. – Матушка искоса на него посмотрела. – Да и ты, отец, знал, на что шел, когда тебя рукополагали. Из сержантов-то.

– Нечего было выходить за сержанта.

– Да уж такой сержант, что не могла не выйти. – Она любовно, с томной усладой вздохнула, и круглое лицо ее слегка зарозовело и расплылось.

– Ладно, прочти о сроках. Когда они вернутся, эти двое? Когда их ждать? Только бы не на Благовещение и не на Страстную, чтобы часом не согрешить. А то птица гнезда не вьет, мы же как на грех осуетимся со встречей-то, оскоромимся.

– Нечем оскоромиться. На полке пусто. Одни только зубы твои и мои – те, что мы с началом поста туда положили.

– Зубы на полку? Это по-нашему. Ты это хорошо сказала.

– Сказала-то хорошо, да жить от этого не легче. Ты б хоть какую-нибудь подмогу завел, учудил коммерцию… Сейчас только ленивый не коммерсант.

– Товарный вагон на миллион тебе украсть? Нет, с коммерцией жить, может быть, и легче, но душе труднее. Тяготит она душу, коммерция…

– Чаю, не коммерция, а другое тяготит тебе душу, – тихо сказала матушка Василиса, пользуясь тем, что он ее уже не слушал, а потому и не мог услышать.

Глава вторая
Послание к галатам

Отец Вассиан раз пять перечитал письмо из прокуратуры, повертел в руках, даже зачем-то посмотрел на свет, словно там могли быть водяные знаки или тайные шифры.

Но на письме водяных знаков не было: они проступили у него в голове, и с такой отчетливостью, что он сразу сел писать записку – писать так же размашисто, как и крестился. И лишь только сел, матушка Василиса неслышно встала у него за спиной, заставляя себя не смотреть и искоса все же бросая цепкие взгляды на бумагу.

– И к кому ж сие послание? – спросила она, поджимая пухлые губы и с показным безразличием возводя глаза к потолку.

– К Галатам. – Отец Вассиан как заслон от ее любопытства выставил адресатов послания, но не своего, а апостола Павла.

– И что ж ты этим Галатам сообщаешь?

– А то… – исчерпывающе ответил он на ее вопрос. – Не засти мне свет. Не маячь.

– Я тебе и лампу могу включить, электричества не пожалею, коли ты этих Галатов так любишь и жалуешь.

– Я всех люблю. И больше всего тебя и наших детей.

– Твои дети – пули и картечи, сержант. Еще по Афгани-

стану. А я, дура, у тебя, как пушка заряжена. Не любишь ты меня.

– Ну вот… – сказал он, не переставая писать. Наконец закончил, перечитал и поставил точку. – Ну вот и раскисла попадья. Поползла, как тесто из квашни. Кого ж я люблю, потвоему?

– Твоих Галатов. Вернее, одну особу из них, галатянку…

Отец Вассиан аж рассмеялся, удивляясь тому, что только людям на ум не взбредет.

– Любаву-то? Любу Прохорову?

– А то кого ж…

– Я ей пишу, чтобы предупредить. Муженек-то ее – Вялый Серега – возвращается. Так ей схорониться надо… хотя б на время. Пока он не остынет. А то беды не оберешься. Вялый-то хоть и тихий, да ревнивый…

– Думаешь, он знает?

– Конечно, знает. Нет сомнения. Дружки ему по доброте своей в зону написали. В красках изобразили… Он отомстит.

Матушка Василиса поймала его на нужном ей слове.

– А ты, отец, разве не мстишь? – спросила она после сосредоточенного молчания и – сказанного не воротишь – пугливо закрыла ладонью рот.

Отец Вассиан посмотрел на жену пристально и с откровенным изумлением, какого давно не испытывал (и уж стал даже забывать, что это такое).

– Ты что это сказала? Кому это я, по-твоему, мщу?

Тут матушка Василиса посчитала ниже своего достоинства промолчать и – раз уж начала – не выговориться до конца.

– А кому ж, как не ей, Любаве твоей ненаглядной.

– Любаве… – Отец Вассиан обозначил этим именем нечто, имевшее настолько разный смысл для нее и для него, что он не знал, как к этому подступиться. – Вот так фокус. За что же мне ей мстить?

– Не беспокойся. Есть за что.

– Это тебе, мать, надо беспокоиться за ту напраслину, что ты на меня возводишь.

– Ладно, скажу. А за то… за то, что она к Витольду Адамовичу, полячишке этому, от тебя переметнулась. Была тебе духовная дочь, ему же стала невенчанная жена, братцу же его Казимиру, близнецу, друг и утешитель.

– Утешитель у нас один – Святой Дух. А ты по части напраслины далеко ушла. Ох, как далеко!

– Напраслины? А ты сверь-ка по датам. Седьмого сентября она ушла, а восьмого ты написал прошение в прокуратуру. – Она показала семь пальцев, а затем добавила к ним восьмой, самый обличающий.

– Разве восьмого? Что-то я уж и не припомню…

– Восьмого, восьмого, отец. Уж я-то запомнила. Сама на почту носила.

– Ну и что? Простое совпадение. – Отец Вассиан отодви-

нул свой стул от стола и откинулся всем своим большим, грузным телом на спинку – так, что стул пошатнулся и протяжно скрипнул.

Она зачастила скороговоркой под этот скрип:

– Не совпадение, а ты Вялого для того и вызвал, чтобы тот, как муж, ее вернул и проучил. Хоть бы избил до полусмерти, но умело, без синяков. Разве это не месть?

– Нет здесь никакой связи. Да и не Вялый он, а Сергей Харлампиевич Прохоров, наш прихожанин. А то взяли моду тюремными кличками друг друга окликать.

– Знаю, что Сергей. В паспорте записан Харлампиевичем, а на самом деле Ахметович.

– И по фамилии – Хамидулин, хотя сменил ее на фамилию жены.

– Выходит, что татарин. – Матушка вздохнула в знак того, что всех готова любить и жалеть – и татар, и русских.

– По матери-то русский – оттого и Сергей.

– Все равно татарская кровь сильнее.

– Да хоть бы эфиопская. А скажи в таком разе, зачем мне дружок его Камнерез понадобился? – Отец Вассиан снова придвинулся – вместе с шатким, скрипучим стулом – к столу.

Матушка Василиса хотела тотчас ответить, но впопыхах запнулась, а уж когда ответила, то самой показалось зряшным и ненужным на что-то отвечать.

– Зачем, зачем. Так, заодно… И не Камнерез он, а Леха

Беркутов, киномеханик при клубе и звонарь у тебя на колокольне. И оба – твои верные опричники.

– Ты, мать, словами-то не шибко бросайся…

– Ну, не опричники, так порученцы, – поправилась матушка, но с таким видом, будто оба слова означали ровнехонько одно и то же.

Глава третья
Деликатного свойства

Выглянуло – выпросталось из-за сизого облака – солнце. Едва позолотило двор и спряталось – вновь потянуло прохладой. Застучал по карнизам дождик и тотчас обратился в бесшумный крупитчатый снег. На часах пробило полдень, и радио в подтверждение пропикало двенадцать раз.

С того берега на пароме вернулась дочь Санька, рыжая и веснушчатая. Она с утра побывала у подруги: вместе готовили билеты к выпускным экзаменам, а как надоест, зевали во весь рот, от скуки толкались, щипались и дрались подушками.

На крыльце она скинула забрызганные грязью сапоги и сдернула с головы беретку, тряхнув головой, чтобы сами собой – без расчески – улеглись волосы. На иконы, конечно, не перекрестилась, как ее ни воспитывай твердолобую. Опять не придержала дверь террасы – так хлопнула, что стекла в переплетах задрожали и звякнули.

Отец Вассиан, хоть и не любил шума и резких звуков, но стерпел, не стал выговаривать дочери: просьба к ней была, и весьма деликатного свойства, требовавшая соблюдения конспирации и маскировки. Особенно – по отношению к матушке Василисе, усердной дознавательнице, кто, кого, о чем попросил, кто, куда и зачем пошел.

Поэтому отец Вассиан лишь спросил у дочери:

– Как на улице?

Санька картинно содрогнулась – изобразила брезгливую оторопь мерзлячки перед промозглой погодой.

– Брр!

Отец Вассиан не оценил ее актерских достижений.

– Мать во дворе или вышла куда?

– Во дворе поросенка кормит.

– А может, вышла? – Отец Вассиан что-то не помнил, чтобы мать собиралась кормить поросенка в это время.

– Может… – Саньку явно заботило что-то другое, не имевшее отношения к тому, о чем спрашивал отец.

– Ты что ж, не заметила? Глаза-то есть?

– Я билеты про себя повторяла. По сторонам не смотрела. Поесть мне не оставили?

– В кастрюльке там, на кухне… – Отец Вассиан не старался обнадежить дочь тем, что в кастрюльке она найдет что-либо вкусное.

Санька все мигом поняла и скривилась.

– Опять свекольные котлеты? Видеть их не могу.

– А Великий пост не по тебе? Скоро Страстная…

– У вас пост, а у меня экзамен. Билеты зубрить надо. Где силов-то взять?

– До Пасхи осталось всего ничего. Святому Духу молись. Вот силов-то и прибавится.

– Молилась, а есть хочется. В животе урчит от голода –

кошачьи концерты. Котлет бы мать накрутила… Или дай мне денег на ресторан.

– Что-что?

– Наш ресторан днем как столовая работает.

– Размечталась. Что ж тебя подружка не угостила?

– У нее самой одна капуста да свекла. Еще помидоры маринованные в банке.

– Самая еда для поста… Ладно, дам тебе на ресторан. – Отец Вассиан подобрел, умягчился голосом. – Только выполни одну просьбу. Уважь.

– Опять на колокольне звонить?

– Записку отнести к одной особе.

– Полине Ипполитовне?

– Почему это ты решила?

– Она же у тебя в особах ходит.

– Она-то ходит, но я к ней больше не хожу. Она в пост всех пирожными угощает, да и вообще… салон. Нет, отнеси Прохоровой Любе. Только матери на глаза не попадайся.

– Какая ж твоя Люба особа!

– Не придирайся. Об особе я так, от запальчивости… Мы тут с матерью о ней балакали. Немного повздорили. Особой-то мать ее назвала. Ты адрес ее знаешь?

– Так она у братьев-близнецов живет, за кирпичным заводом. Казимир Адамович у нас теперь в школе преподает. Математику. Он говорит, что Бога нет, а есть теория вероятностей и математическая статистика.

– Значит, будет в аду раскаленные сковороды лизать. Своим лживым языком. У чертей своя статистика.

Санька по-своему истолковала его адские посулы. Она притихла, помолчала и якобы безучастно спросила:

– А ты мог бы за веру убить?

– Как убить?

– В Афгане же ты душманов этих убивал. А они – мусульмане.

– Скажешь тоже: в Афгане… Там война была. И нас убивали. Глаза выкалывали. Уши, носы и кое-то другое отрезали.

– А Казимира нашего мог бы?

– Убить-то? Нет… – Отец Вассиан развел руками в знак полнейшей неспособности к подобным действиям.

– Жалко его. – Санька всхлипнула и часто заморгала. – Он добрый. Помолись, чтобы его там на небе простили.

– Молюсь. За всех молюсь. Это я так… стращаю. Вера-то не каждому дается.

– Ну, я пошла… – Санька смахнула слезинки и, слегка приподнявшись на цыпочки, поцеловала отца в висок.

– С Богом. – Отец Вассиан протянул ей сложенную вчетверо записку. – К братьям-близнецам и неси. А на обратном пути все-таки загляни к Полине Ипполитовне. Скажи, что я в среду у нее не буду. Страстная… нехорошо.

– Скажу, – пообещала Санька. – А Полина Ипполитовна мне на это что-нибудь свое скажет. Она же – особа… И к

тому же ндравная, как о ней все говорят.

– Говорят, а ты не говори. Не повторяй. – Отец Вассиан что-то внушительное прибавил к этим словам глазами. – Скажешь, значит, осудишь.

– Я вообще молчу. – Санька считала это лучшим ответом на пожелание сказать одно и не говорить другого. – Я, как моя старшая сестра Павла, молчальница, безответная. В детском доме гроши получает и все терпит. С нее беру пример.

– Молчальница. Хоть бы в церковь разок зашла, а то этак и промолчит всю жизнь. – Отец Вассиан, отвлекшись на что-то, не уловил, сказал он это или только подумал. Поэтому на всякий случай повторил: – Хотя бы разок… в церковь-то. А то ведь ни разу..

Глава четвертая
Рыжий русский поп

Санька (хоть и жалостливая, но свистуха, рыжая бестия) накинула пальто, нацепила беретку – так, что казалось, будто она чудом держится на одном ухе. Затем стала натягивать сапоги, попрыгала на одной ноге (сбившийся шерстяной носок мешал как следует просунуть ногу) и убежала.

Отец Вассиан, проводив ее долгим взглядом, посмотрел на часы и прикинул, скоро ли свистуха вернется. Если нигде особо не задерживаться и с подружками не пустословить – не балясничать, – должна за полчаса обернуться. Или минут за сорок.

Чтобы время быстрей прошло, занялся наведением порядка. Он спрятал письмо в шкатулку для документов – на самое дно, под паспорта, диплом и воинский билет. Вращая черный валик, осторожно вынул переложенные копиркой и заправленные в пишущую машинку листы. Накрыл машинку крышкой, чтобы зря не пылилась.

Выключил радио, бубнившее одно и то же. Открыл Псалтырь на том месте, где лежала закладка – его фотография на привале, у ручья, вместе с афганской братвой.

Бравый вояка – каска набекрень. Серьга в ухе, вздернутый нос. Из-под каски выбился рыжий чуб. Таким был до осколочного ранения и ожога (до черноты опалило подбородок и

нижнюю губу), чуть не лишивших его жизни.

А сейчас вместо вояки – рыжий русский поп. Подрясник и крест на животе. Или все-таки, хоть и поп, а вояка?

Спрятал фотографию и стал читать Псалтырь (всегда успокаивало) – по несколько раз одну и ту же строчку, поскольку мысли где-то витали и смысл ускользал.

Через полчаса с минутами вернулась дочь, что-то насвистывая (мальчишеские замашки). Включила радио (не выносила тишины).

Отец Вассиан строго спросил:

– Передала?

– Угу. – Уже успела что-то сунуть в рот. Прожевала, проглотила и выговорила более внятно: – Передала, передала.

– В руки?

– В ноги, – огрызнулась Санька, не любившая дотошных расспросов.

– Как с отцом разговариваешь! И что Люба? При тебе прочла?

– Да, сразу, при мне.

– И что сказала?

– Сначала ничего не сказала. Охнула, побледнела и взялась за сердце. Записку порвала. – Санька отвечала, как на экзамене, старалась ничего не упустить. – Села, свесила голову, сложила руки на коленях. Мол, что ж теперь делать? А затем сказала про брата своего Евгения – того, что в Питере. Мол, напишет ему или позвонит с почты по междуго-

роднему.

– Зачем?

– Чтобы приехал ее утешать и спасать.

– Евгений-то? Тю… Да я его еще босым и голопузым помню, как он по улицам бегал, пыль пятками вышибал, Евгений-то этот. Теперь же он – гляди-ка – спасатель.

– Сам на него гляди.

– Ладно, погляжу, как приедет. Слыхал, он учености набрался. Богослов! Догматику и апологетику изучает. Вот и проверим, какой он богослов. Ты записку сама-то прочла?

– Ну, конечно. Само собой…

– Все поняла? До всего дозналась?

– А то! Я этого Вялого как огня боюсь. Он нашей химичке, помню, ножом угрожал из-за того, что она в клубе танцевать с ним отказывалась. Зачем ты ему срок скостил, на волю вытащил? Сидел бы там и сидел.

– А ты разве не знаешь, что и меня когда-то добрые люди взяли на поруки и от тюрьмы избавили? Я ведь по глупости, по недомыслию угодил. Я им по гроб благодарен буду. И на мне теперь, как ни крути, долг – тот, что платежом красен. Я теперь должен за кого-то ручаться, разве нет? К тому же Вялый-то – он ведь в Бога верует. И в Афганистане со мной служил. А это свято.

Саньку эти слова как будто убедили, хотя и не до конца: в мыслях осталось сомнение.

– А ты с ним совладать-то сможешь, если он Любу начнет

бить?

– Так жена его… Бывает, муж и побьет.

– А-а-а. Жена. Значит, не сможешь. Вялый сам тебя по рукам свяжет. Вот тебе и поруки. Не зря она на брата надеется.

Отец Вассиан насупился оттого, что ему нечего возразить. Между губ зачернелся давний ожог. Решил разговор со свистухой свернуть, перевести на другое.

– Брат ей не поможет. Пусть у старца нашего Брунькина для начала укроется. Тот приютит. Я ей об этом скажу. А к Полине Ипполитовне заглянула? И что она?

– Сказала, что в среду ты обещал почитать из своих записок. Всем уже разосланы приглашения. Придется тебе быть…

– Нет, на Страстной не могу. Еще раз забеги и скажи ей. Пусть перенесет на Пасхальную. – Отец Вассиан достал из подрясника, помял в кулаке и стыдливо протянул дочери деньги на ресторан.

– Здесь не хватит. – Санька плаксиво сморщила веснушчатый нос, насупила треугольнички бровей – такие же, как у отца.

– Хватит, хватит. – Отец Вассиан добавил немного мелочи. – Только рыбу возьми. Мясо – не смей.

– Мясо от дьявола?

– Во время поста – от дьявола.

– А помнишь, я в детстве глупенькой была, совсем дурочкой и тебя спрашивала: «А козявки в носу отчего бывают?

От дьявола?» А ты мне отвечал: «От дьявола».

– Ты хоть и выросла, а у тебя в мыслях – те же козявки. Ну, беги, свистуха, – сказал он и снова выключил радио – повернул до упора ребристую ручку.

Глава пятая
Пугач

В ресторане Санька расположилась за столиком у окна, чтобы есть и поглядывать. Просто есть (особенно суп) ей всегда было скучно. Санька нуждалась в добавке, но не той, что подкладывают в тарелку, а той, что дает пищу жадно раскрытым глазам, утоляет не столько голод, сколько любопытство ко всему на свете, позволяет почувствовать, что она не только ест, но и живет.

Жить она была согласна даже впроголодь, даже тогда, когда урчит в животе (кошачьи концерты). Если же жизни не хватало, с унынием вспоминала о еде, но предпочитала отдаваться ей не дома, а в гостях или в ресторане, где было легче получить добавку – ту самую, ради поисков которой она сейчас и уселась у окна ресторана.

Но на этот раз добавка сама нашла ее – и какая! Причем нашла не где-нибудь за окном, а здесь, в ресторане. За несколько столиков от нее сидел школьный учитель математики, добрый, близорукий (подставлял к глазам лупу вместо очков), не верящий в Бога – Казимир Адамович Мицкевич.

Он, конечно, сразу заметил ее и махнул рукой, подзывая к себе. Санька аж вся зарделась от такой чести и мигом перебралась со своими мисками (в тарелках еду подавали только вечером) к нему за столик.

Когда Санька передавала Любе Прохоровой записку, Казимира Адамовича дома не было. Но ему, видно, потом сказали, и он знал о ее приходе. И о содержании записки тоже, конечно, знал, иначе бы не смотрел на нее так затравленно, встревоженно и безнадежно.

– Ну и новости ты нам принесла, Григорьева. Апокалипсис! Конец света! – При своем неверии Казимир Адамович любил ссылаться на Библию, как, впрочем, и на художественную литературу, которую знал не хуже математики, хотя ценил в ней не туманные и расплывчатые описания (красивости), а точные формулировки. – От таких новостей, знаешь ли, срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек.

Санька воспользовалась поводом ему польстить и его задобрить.

– Как вы хорошо сказали, Казимир Адамович! – Она сделала мечтательные глаза.

– Это не я, а Маяковский, дуреха. Из школьной программы, между прочим.

– Простите. – Санька не без жеманства опустила глаза: устыдилась.

– Бог простит.

Она подняла глаза, округлившиеся от удивления.

– Бога же нет, вы нас учили.

– Ну, кто-то же прощать должен… Ладно, Григорьева, о Боге после поговорим. Ты мне скажи, когда его ждать-то?..

– Конца света? – по наивности осведомилась Санька.

– Футы, господибожемой! Какого конца света! Этого Вялого, Вялого. Кстати, как его зовут-то по-человечески?

– Сергей Харлампиевич…

– … этого Сергея… как бишь его? – Казимир Адамович отчества с первого раза не запоминал.

– Харлампиевича. Отец полагает, что уж на Пасху…

– Вот будет подарочек к празднику. Крашеное яичко. Несчастная Люба сама не своя… Побежала брату в Питер звонить, чтобы приехал…

– Брат Евгений не поможет, – сказала Санька словами и голосом отца: так было авторитетнее. – У старца нашего надо укрыться.

– У Брунькина? А ты у него бывала?

– Я – нет, отец бывал.

– И где ж там укроешься?

– В скиту.

– А то Вялый с Камнерезом этот скит не найдут. Мигом разнюхают и отыщут.

– Он заговоренный, скит-то. Не всякому открывается. Иной станет искать и в лесу заплутает или в болото ухнет, провалится. Утопнет.

– Ой, Григорьева. Горазда ты небылицы сочинять. Ты еще Китеж-град сюда приплети. Или Беловодье. А то уж вовсе замахнись на Шамбалу.

– На что замахнуться? – Санька то ли не расслышала, то

ли не очень поняла.

Казимир Адамович счел безнадежным делом ей что-либо объяснять. Он зачерпнул ложкой борща, любуясь, как он стекает струйкой обратно в миску. Санька из подобострастия тоже зачерпнула и полюбовалась.

– Ладно, с Шамбалой проехали и забыли… У меня к тебе один вопрос.

– С придурью? – деловито осведомилась Санька, словно от наличия придури в вопросе зависело, под какую разновидность он подпадал.

Казимир Адамович аж охнул от такой дерзости.

– Ты что себе позволяешь, Григорьева! Я все-таки учитель. Когда это я придуривался?

– Ой, простите, – спохватилась она, вспомнив, что собеседник не посвящен во все тонкости великого и могучего школьного языка. – Это на нашем жаргоне. С придурью – значит с прицепом.

– А прицеп что такое?

– Ну, нечто… вроде прикола.

– Так вот, Григорьева. – Казимир Адамович как бы подвел черту под числителем, чтобы вписать итоговый знаменатель. – Я тебя спрашиваю серьезно – без прицепа и прикола. У кого из наших старшеклассников есть пугач? Я однажды видел, они в школу приносили. Совсем как настоящий. Чей он?

– Казимир Адамович… – Санька посмотрела на него с

красноречивым упреком. – Я своих не выдаю. Я девушка с понятиями.

– Мне нужно. Мне очень нужно. – Казимир Адамович весь зашевелился, задвигался, завертелся на своем стуле, не зная, как донести до нее всю степень того, что он называл нужностью. – Я не просто так спрашиваю. Не беспокойся, к директору доносить не побегу.

– Правда?

– Господибожемой, клянусь. Я человек чести и обещаниями не бросаюсь. Во мне, между прочим, польская кровь. К тому же я потомок великого поэта.

– Маяковского?

– Темнота же ты, Григорьева. Мицкевича.

– А я думала, что вы однофамилец. Все в классе так думали.

– Ну, однофамилец, атам кто знает… Может, и потомок. Санька вернулась к заданному им вопросу.

– Это пугач Яна Ольшанского. Ему отец из Бельгии привез. У него же отец предприниматель. Между прочим, он обещал пожертвовать на ремонт придела Святой Троицы. Мне мой отец шепнул на ухо. Это пока секрет.

Но Казимиру Адамовичу до Троицы и связанных с ней секретов не было никакого дела.

– А не даст ли Ян на время свой пугач? Я верну, разумеется. Брат Витольд очень просил. Для самозащиты.

– От Вялого и Камнереза? Я спрошу у Яна, хотя мы не

очень дружим. Ему такие, как я, девушки не очень нравятся. – Санька попыталась упомянуть о своем, надеясь, что учитель станет подробно расспрашивать и ей удастся поплакаться и посетовать на свою судьбу (в школе она никому по большому счету не нравилась, а нравиться по малому счету считала ниже своего достоинства).

Но того заботило лишь одно и, видно, очень заботило, раз он ни о чем другом думать не мог.

– Спроси, спроси, Григорьева. Или пришли его ко мне в математический кабинет. Я сам с ним поговорю.

Санька разочарованно (никакой добавки к обеду!) пообещала:

– Попробую. Боюсь только, что не согласится. Он со своим пугачом не расстается. Любимая игрушка. А еще ему отец к окончанию школы пообещал свой старый мессершмитт подарить.

– Какой еще мессершмитт?

– Ну, мерседес, мерседес, – произнесла Санька с таким отвращением, словно для полного счастья ей не хватало лишь всем состроить злючую рожу, показать язык, а затем поездить на мессершмитте или полетать на мерседесе.

Глава шестая
Измучила

Отец Вассиан не допускал и мысли о том, что ему может нравиться – и даже очень (чертовски) нравиться – Люба Прохорова. Он убеждал себя, что у них совсем другие отношения, что Люба – усердная прихожанка, не пропускает ни одной службы, терпеливо выслушивает все проповеди и наставления, принимает из его рук причастие.

К тому же он ведет с ней долгие беседы на лавочке в церковном саду, под зарослями черемухи и рябины, посаженных его руками, отвечает на ее часто наивные, смешные, но всегда пытливые и вдумчивые вопросы, дает советы.

И она может считаться его ученицей, даже более того – духовной дочерью.

При этом он подчас ловил себя на том, что Люба очень уж хороша, и лицом, и гибким станом, и крупными, пунцовыми (словно запекшимися и надтреснутыми от горячего дыхания) губами, и пшеничного отлива косой, уложенной венком на голове. Высокая, с запавшими, резко очерченными глазницами, фиалковой дымкой огромных глаз, она особенно влекла и притягивала. Притягивала, морочила, даже бесила (прости господи) чем-то затаенно неправильным – преувеличенно красивым – в удлиненных чертах.

И что-то татарское было в разрезе глаз, резко очерченных

скулах.

Шамаханская царица!

И, конечно же, ему нравилась – до бешенства, до мучительного стона, до зубовного скрипа.

Но *мысли* отец Вассиан все равно не допускал, поскольку чего уж там: он намного старше, ему далеко за сорок, женат уже столько лет, у него трое детей. Санька, младшая, слава богу, при нем; сын Аркадий служит дьяконом в дальнем приходе (его не рукополагают лишь потому, что заменить некем: слишком хорош дьякон). А старшая дочь Павла в интернате трудных подростков перевоспитывает…

Словом, подобная мысль унижала его в собственных глазах, а главное, роняла достоинство сана, опускала его, как новичка в тюремной камере (отец Вассиан за полтора года отсидки всего насмотрелся). Что это он, священник, иерей, себе позволяет! Этак еще и разговоры пойдут среди прихожан, толки, перешептывание в храме, на службе.

Да и матушка станет ревновать, поддаваться соблазну. Поэтому лучше уж без мысли: нравится немножко и все.

Так оно и продолжалось два с лишним года – до той поры, пока Люба не влюбилась. И не в него, грешного и окаянного, а в одного из братьев-близнецов – Витольда Мицкевича, а к нему примчалась исповедоваться. Все ему выложила, расписала в подробностях, как это с ней случилось (при живом-то муже).

Тут-то ему кровь в лицо бросилась, между сомкнутых губ

зачернело.

И явилась отцу Вассиану крамольная мысль, что, оказывается, не просто нравится ему Люба, а влюблен он в нее – влюблен гибельно, смертельно (вот когда ему открылась библейская «Песнь»), до удушья и мучительно ревнует к этому полячишке. И готов осудить, возненавидеть Любашу и все ей тут же простить, лишь бы она его тоже хотя бы немного любила.

…После вечерней службы сели они в церковном садике на лавочку, под черемухой и рябиной. Вдали серела между деревьев Ока, похожая на ползущий вдоль берегов мутный, проволглый дым от сырого костра. Под ногами дотаивал хрупкий ледок, смешанный с глиной.

Люба потуже завязала платок и натянула на колени юбку.

– Получила записку? Прочла?

– Прочла. Что ж теперь делать-то?

– Евгению своему в Ленинград-то уже позвонила?

– В Петербург…

– Для меня он по-прежнему Ленинград.

– Позвонила. Что могла, сказала. Об остальном напишу.

– Напиши, напиши. Ты длинные письма-то любишь строчить. Ну и как он – приедет тебя защищать, порядок наводить?

– Обещал на Пасху.

Отец Вассиан стал долбить каблуком большого сапога льдинку, стараясь искрошить ее в кашицу.

– На брата особо-то не надейся. Уповай на Бога и на старца нашего Брунькина. Он – божий человек.

Люба смотрела прямо перед собой, словно заставляя себя не слышать сказанного им и при этом самой высказать то, что он наверняка не пожелает услышать.

– Отец Вассиан…

– Да, милая…

У нее резко обозначились татарские скулы.

– Вы меня простите ради бога… Не корите только.

– Говори, говори…

– Ведь вы нарочно моего мужа сюда из тюрьмы вызвали. Наказать меня хотели, а может, и отомстить мне.

Отец Вассиан тоже стал смотреть прямо перед собой.

– Ты сама до этого дошла? Или матушка Василиса тебе нашептала? Она большая любительница на меня всякую напраслину возводить.

– Простите… – Люба опустила голову.

– Ведь ты мне как дочь… За что же мстить-то?

– За то, что полюбила… Вы хотели, чтоб вас, а я вот – вопреки вам – другого.

– Что значит – я хотел? – Он осуждающе повел бровью. – Любовь с тобой крутить?

– Я ведь ваши томные и откровенные взгляды на себе ловила. И не раз.

– Врешь. Не было этого.

– Да чего уж там не было – было, – сказала Люба так про-

сто, что у него отпало всякое желание ей возражать и оправдываться.

– Может, и так. Прости меня грешного. Ведь я лишь поп, а не праведник. Хорошо бы, конечно, если бы попы были праведниками, ведь когда-то предлагалось… Но где ж их столько возьмешь. На все приходы не напасешься. – Отец Вассиан нарочно отвернулся, чтобы не смотреть на Любу после того, как она уличила его в томных взглядах. – Ну, нравишься ты мне. Я же мужик, как ни крути, хотя и в рясе. Но разве я что-нибудь лишнее себе позволял?

Люба и хотела бы признать, что не позволял, да не смогла.

– А однажды, когда я заснула?..

– Ну, поцеловал тебя. Был грех. – Он по-прежнему от нее отворачивался.

– А когда больная лежала, а вы Псалтырь принесли мне читать, а сами стали коленку гладить?

– Не сдержался. Рука сама потянулась. Красивая ты. – Отец Вассиан повернулся к ней, чтобы эти слова подтвердить взглядом, каким бы он ни был откровенным.

– Красивый сосуд греха? – спросила она с нехорошей усмешкой.

– Из-му-чи-ла ты меня, – произнес он с каким-то странным горловым, булькающим голосом, похожим на сдавленное рыдание. – Вот как есть, так и говорю: измучила. Бьюсь о тебя, как одуревшая муха о стекло.

– Сами себя вы измучили.

– Сам – не сам. Молчала бы ты… Мне бы прогнать тебя с глаз долой, запретить появляться, всюду посты расставить, охранников, часовых, а я, дурак, не могу. Я ведь в Серпухов ездил, к владыке Филофею. Умолял, чтобы меня перевели, услали в другой приход, спасли от наваждения бесовского. А они отказали. Велели терпеть и искушению не поддаваться. Сейчас приходы открываются, где им взять священников – не хватает.

– Меня и гнать не надо. Сама теперь уйду. – Люба хотела встать, было приподнялась, но передумала и снова села.

– А-а-а. Вот ты как повернула. Не нужен стал глупый поп. Замена ему нашлась. Только как ты их различаешь, близнецов-то? Она ведь как две капли воды друг на друга похожи.

– Уж знаю как… – Люба не стала распространяться про знание, принадлежавшее ей одной.

– Неужели так любишь своего Витольда? Ведь он не из красавцев… Гонору, правда, много. Польской спеси.

– Это не гонор.

– А что? След многолетнего страдания под игом деспотической России?

– Не будем об этом, а то поссоримся.

– А без ссоры у нас с тобой не получится. Нет уж, милая, не надейся. Буду с тобой ссориться. Я ведь поп-то скандальный. Недаром меня столько по приходам гоняли и в самую глушь упрятали.

– Значит, все-таки мстите, – произнесла Люба так, словно

до этого еще сомневалась в его мести и лишь теперь до конца в ней уверилась.

– А ты как хотела. Мне отмщение, и аз воздам, как говорится. – Он широко расставил ноги в больших сапогах и накрыл колени ладонями.

– Для этого и Вялого вызвали вместе с Камнерезом. – Люба повторила сказанное раньше так, словно теперь в нем не оставалось ничего недосказанного.

– Не Вялого, а нашего Сергея… Сергея Харлампиевича.

– Ахметович он.

– Да пусть кто угодно, а муж твой законный. Я сам и венчал вас. Правда, оступился он, но полсрока отсидел, кое-что уразумел, кое-чему научился. Заживете с ним по-новому.

– Я к нему не вернусь. Уж лучше горло себе серпом… Вам тогда меня отпевать придется.

– Самоубийц не отпевают. Церковь не велит.

– А вы самовольно, со скандалом. Скандалить-то вы умеете, – сказала Люба так, словно после этого ничто не мешало ей встать со скамейки.

Глава седьмая
Вакуум

Встать-то отец Вассиан ей позволил, а вот уйти не дал.

– Подожди… Малость задержись-ка, Люба.

Она остановилась, не поворачиваясь, стоя спиной к нему и ничего не произнося в ожидании того, что он ей скажет.

– Не за тем я вызвал твоего мужа, чтобы мстить или наказывать тебя. Не за тем. Я сейчас тебе все растолкую… попробую растолковать, хотя толкователь-то, признаю, не ахти. Заливаться соловьем не умею, как некоторые.

– Это кто же у нас соловьем заливается? – спросила Люба о том, о ком можно было не спрашивать.

– Да хотя бы Витольд твой. Братец-то его – Казимир молчун, а сам он речами пламенными всех заворожил. Витольд-Демосфен! Витольд-оратор. Правда, я его Витьком называю.

– Не будем о нем. – Она пожалела, что спросила.

– Согласен, не будем. Так о чем бишь я? Ах, да! О том, что толкую я плохо. Не толкую, а токую, ха-ха! Но – никуда не денешься – попробую. Ты только побудь со мной, побудь. Хочешь, сядь на скамейку, а я встану, если уж так противен тебе. Или вместе еще посидим.

Люба спросила о том, что мешало ей снова сесть с ним рядом:

– А разве вы не все сказали?

– Да мы с тобой все о личном, о томных взглядах и поцелуях, а есть вещи и поважнее. Общественные! Церковные и государственные! О них желаю потолковать. Уж ты уважь. Посиди.

Он широко смахнул полой подрясника пыль с того места, куда приглашал ее сесть. Но Люба присела лишь на краешек скамейки.

– Какие же вещи?

– Не бойся, не краденые, – пошутил он с хохотком и за этот хохоток усовестился, смутился: вышло не совсем к месту.

Люба даже не улыбнулась на эту шутку: в выражении красивого лица ничего не изменилось. Он засуетился, стал оправдываться, даже слегка заискивать:

– Я это к тому, что не из чужих книг. Сам допер. Своим умом. Я в «Записках» об этом пишу. Может, и коряво пишу, нескладно, но сейчас писателями, как и солдатами, не рождаются. Ими становятся. Вот и я, считай, стал им, писателем-то: нужда заставила. Но могу сказать и по-простому.

– Скажите по-простому. – Люба вздохнула: она стала уставать от их затянувшегося разговора.

Он это понял, торопливо собрался с мыслями.

– Ты только не перебивай. Ты же всегда умела слушать.

– Я слушаю… – сказала она глухим и отчасти враждебным голосом.

– Ну вот, ну вот… – Отец Вассиан весь вскинулся, встрепенулся. – Ты о времени когда-нибудь думала? О нашем времени? О девяностых?

– Время как время. Что о нем думать.

– А я думал и очень много. Вот смотри… – Он выставил перед ней ладонь и стал пальцем рисовать на ней круги. – Запреты на веру сняли, народ ломанулся в церкви. Ломанулся не только младенцев в купель окунать, но и грешную душу спасать. Пускай и креститься толком не умеют, и свечки ставить, и поклоны класть… И на исповеди такой бред несут, что слушать тошно. Пускай…

– Ты только к сердцу никого не допускай, – вспомнилось Любе, и она сама удивилась: зачем вспомнилось?

Отца Вассиана это слегка сбило с толку.

– Я что-нибудь не так сказал?

– Нет, нет, все так. Простите, – стала оправдываться Люба.

Но он все равно не сразу совладал с сумятицей и разбродом в мыслях. Покашлял, прочищая горло. Собрал в кулак рыжую поросль, закрывавшую ожоги на подбородке.

– Так вот я и говорю: народ ломанулся. Казалось бы, только радуйся. Празднуй победу, торжество православия. Но не очень-то празднуется, однако… не очень. Ведь это торжество лишь на виду, на поверхности, это еще не суть. Суть-то внутри, глубоко запрятана.

– И в чем же она, по-вашему?

Он слегка воодушевился, почувствовав в ее вопросе

прежний пытливый интерес.

– А в том, что образовался вакуум. Вакуум, Люба, пустота, ничем не заполненное духовное пространство.

– Не понимаю я, – сказала она, и его воодушевление спало.

– Да как же ты не понимаешь. Возьмем прежние времена, нашу совдепию. Веры в Бога не было, но была другая вера – в коммунизм, партию, светлое будущее. А вместе с ней – и знамена, и хоругви, и иконописные лики, на Красной площади вывешенные, прямо по фасаду ГУМа. Все честь по чести, как и полагается. Но вот светлое будущее стало подмокать, загнивать, покрываться коростой, а там и вовсе захирело и сгинуло. Никто в него больше не верит, кроме полоумных стариков и старух, бывших коммуняк со стажем. А что на его месте? Вера православная, глубинная, истовая? Какое там – мелкая рябь на поверхности, а по сути – вакуум. Вакуум же при полной свободе очень опасен. У нас ведь сейчас свобода-то – что твое гуляй-поле. Ночной мятежный мотогон с включенными фарами. Грабь, воруй, убивай. Думай себе, о чем хочешь и что хочешь – никто не запретит. – Отец Вассиан подергал рыжую поросль на подбородке. – И при такой свободе в этом вакууме, Люба, скоро начнут плодиться всякие химеры, возникать миражи, причудливые видения. Кому-то привидится, что он – сатана. Кому-то – что чуть ли не сам Христос. Зачастили к нам проповедники со всего света. Один миляга Билли собирает стадионы. Вон секты уже появились, народец наш наивный и неискушенный замани-

вают, но это еще не самое страшное. Сектам можно и хвосты поприжать, если слишком разохотятся и обнаглеют. Куда страшнее – ереси. Ереси, Люба. Причем явятся они не в натуральном – голом – виде, свой срам прикрывая, а облаченные в роскошные одежды, с претензией на философские поиски и интеллектуальные прозрения. Это же ох как соблазнительно – искать и прозревать. Не молиться ночи напролет перед лампадкой мигающей, а, развалившись в удобном кресле, искать, видите ли. А заодно и прозревать. Попутно же поругивать нашу церковь за всякие там отжившие суеверия, вековые заблуждения и предрассудки. За котлы с кипящим маслом и раскаленные сковороды: я и сам подчас ими грешу. Да и мало ли за что. Вон кружок нашей Полины Ипполитовны – там уже раздаются голоса, слышатся призывы. И Витек твой усердствует – то великодержавную деспотию лягнет, то чиновничий произвол, то казенное православие.

– Витольд умный и образованный человек, – строго и вдумчиво произнесла Люба.

– Не спорю. Пускай. Но лягаться это никому и никогда не мешало. С умом-то оно и лучше.

– К чему вы это все?.. К чему вы мне это говорите?

– А к тому… – отец Вассиан вдруг стал лицом другой, на себя непохожий – не тот, что сыпал шутками и прибаутками, а серьезный и уклончиво-многозначительный, – к тому, что Вялого и Камнереза я вызвал, чтобы горячие головы знали: управа на них есть, и не очень-то хорохорились. А то распе-

тушатся – ничем их не остановишь. Свобода – то же море разливанное: волны, брызги, пена. Вялый же и Камнерез – как два волнолома. Волны-то набегут, в них ударят и откатят. Муж твой хоть и Ахметович, но верит по православному и за веру стоять будет. И спуску никому не даст.

– Чуть что – и ножик к горлу приставит.

– Оставь это – ножик… На ножики вон милиция есть. Сразу на нары вновь отправят. Охота кому? Да и я с ним буду строго. Не забалует. – Отец Вассиан счел, что последнее слово им сказано, и поэтому лишь спросил: – Теперь уразумела, зачем мне Вялый и Камнерез нужны?

– Уразумела. – Люба приподнялась со скамейки, и он не стал ее удерживать.

– Ну, ступай. Витольду Адамовичу… Витьку твоему мое нижайшее почтение.

– И вам не болеть, – ответила ему Люба словами, которые от него же и слышала.

Глава восьмая
Близнецы

Казимир Адамович долгое время жил один – на самой окраине городка, где дымил кирпичный завод, зияли пустыми глазницами заброшенные бараки и тянулся пустырь, отданный под огороды, но заросший бурьяном и лебедой, поскольку ничего прочего там не росло: пустырь он и есть пустырь. Дом у Казимира Адамовича, хоть и понизу кирпичный (кирпич брали тут же рядом и за полцены), был ветхий, покосившийся, крытый проржавевшим и местами задранным от ветра, скатавшимся валиком железом, но с колоннами. Уж откуда взялись эти колонны и как их пристроили – приткнули – к фасаду, подперли ими карниз, чтоб они худо-бедно держались и не падали, никто не мог сказать (сие было неведомо).

Но каким-то чудом ведь держались, придавая дому усадебный – панский – вид, что даже позволяло Казимиру Адамовичу именовать свою усадьбу на польский манер – фольварком.

Он так и говорил, приглашая к себе гостей (что, впрочем, случалось редко): «Пожалуйте, Панове, ко мне в мой фольварк». И назначал время, обычно вечером, после восьми, чтобы гости особо не засиживались. При этом никто толком не понимал, куда это он приглашает, и ему приходилось

уточнять. Вместо очков приближая к глазам лупу, чтобы получше рассмотреть собеседника (этой лупой Казимир Адамович окончательно испортил глаза), он говорил: «Ну, ко мне домой, в мою хибарку. Номера на доме нет, но вы его сразу узнаете по греческим колоннам».

Отсутствие номера шутники объясняли тем, что Казимир Адамович – за недостатком циферок (любой математик всегда без цифр, как сапожник без сапог) – употребил его в своих математических целях, для наглядности, поскольку зарабатывал тем, что репетиторствовал – готовил юных оболтусов к сдаче выпускных экзаменов. А чтобы оболтусы не скучали, развлекал (и завораживал) их тем, что легко умножал в уме трехзначные и четырехзначные числа, им же для проверки вручал арифмометр. Всегда совпадало, о чем они затем с восторгом рассказывали дома, тем самым умножая славу Казимира Адамовича как великого математика, репетитора и наставника юношества.

Старожилы помнили, что года два Казимир Адамович прожил с женой – пани Крысей, тоже математичкой, по всеобщему убеждению, основанному на том, что та, спустив на нос очки, часто дремала в кресле и сквозь дрему отгоняла мух логарифмической линейкой. Казимиру Адамовичу при этом было не до логарифмов, поскольку он яростно стирал, готовил – варил в кастрюльке похлебку из чечевицы, поливал чахлые цветы в горшках и убирался по дому.

После двух лет такой жизни супруги расстались.

Пани Крыся не стала мелочиться и отсуживать у бывшего мужа половину фольварка, поскольку ее не прельщала участь хозяйки готовой рассыпаться развалюхи. Она лишь прихватила серебряные ложки и китайский чайник с аистами, и Казимир Адамович остался один – без ложек и чайника – бобыль бобылем (к тому же из Бобылева).

Его слава репетитора потускнела после того, как он предал ее ради *чечевичной* похлебки, и ученики один за другим покинули великого математика. Целыми днями он от скуки сидел на ступенях крыльца и слонялся по двору. Развлекал себя лишь тем, что опасливо проверял на прочность античные колонны, упираясь в них рукой. Или по просьбе соседей, высунувшихся из окон, умножал в уме трехзначные и четырехзначные числа.

Но, чтобы оправдаться перед соседями за такую жизнь, Казимир Адамович не уставал повторять, что у него во Львове есть брат, и не просто брат, а близнец, с коим они похожи как две капли воды. При этом он так расхваливал своего брата, приписывая ему множество самых разных достоинств, – уж он и умный, и честный, и красивый, и невероятно добрый, что, по его словам, все должны в него влюбиться. На это ему резонно отвечали: но ведь вы с ним как две капли, а в вас мы не влюбляемся – с чего же нам в него-то влюбляться?

Казимир Адамович обижался на это, хмурился, мрачнел, пожевывая губами подбирал слова, чтобы достойно ответить, но не находил ничего лучшего, кроме как сказать: «По-

дождите, сами увидите».

Из этого следовало, что брат должен вскоре приехать. При этом Казимир Адамович предавался мечтам, что вместе они приведут в порядок усадьбу, починят свернувшуюся валиком крышу, выпрямят покосившиеся колонны, изгонят праздный дух, оставленный бывшей женой, и заведут суровые мужские порядки. Может, даже замутят какую-нибудь коммерцию, учредят лицей или откроют шинок, где будут собираться польские патриоты, а пышногрудые крали – подавать пенистое (кружки накрыты белыми шапками) пльзенское пиво.

Но брат долго не приезжал, и все не упускали случая пошутить: мол, ждем и уже готовы влюбиться, но где же он, обещанный и суженый? Люба тоже так шутила и насмешничала, уверенная, что уж ей-то никакая дурь, именуемая любовью, слава богу, не грозит.

Не грозит и ее не пугает, поскольку она, однажды уже имела несчастье до помешательства влюбиться в своего одноклассника Женю Богданова (тезку ее умного и ученого брата). Поэтому теперь она научена горьким опытом и знает, что это такое – днем храбриться, с независимым видом (вздернутым носом) прохаживаться перед *ним,* изображать из себя гордячку и зазнайку, а по ночам от беззвучных рыданий кусать подушку и вынашивать планы повеситься или отравиться купленным в аптеке крысиным ядом.

Словом, второй раз ее, к тому же побывавшую замужем,

скрывавшую следы от побоев, наловчившуюся запудривать синяки и замазывать йодом ранки, на этом не поймаешь. На мякине не проведешь.

Но дурь обладала загадочным свойством – обретать самые разные обличья, снисходя на нее в виде мудрой рассудительности, желания красивых чувств и возвышенных отношений. Эта же дурь могла истолочь в крошево любой накопленный горький опыт, словно его и не было.

Так оно и вышло на этот раз…

Когда Витольд Адамович наконец приехал и поселился у брата, Люба поначалу не чувствовала к нему ничего, кроме любопытства и стремления издали на него посмотреть (поглазеть). Она считала, что любопытство ее будет удовлетворено и на этом все благополучно закончится, но почему-то и удовлетворенное любопытство не приносило ей покоя и благополучия, не отнимало стремления – глазеть не глазеть, но каждый день его непременно видеть.

Он действительно был похож на брата, но отличался от него тем, что больше за собой следил, одевался хоть и не броско, но изысканно, не ленился красить и завивать волосы, ухаживал за ногтями – подравнивал их пилкой и даже покрывал лаком. По утрам священнодействовал за станком, как он называл бритье, имея в виду, конечно, бритвенный станок, с помощью которого творил чудеса, придавая причудливые формы усам и бородке.

Расхаживал по двору с раскрытой книгой в старинном

– тисненом золотом – переплете. Погрузившись в чтение, взмахивал свободной рукой, словно дирижируя оркестром, и никогда не спотыкался, обходя разбросанные всюду обломки кирпичей, камни и доски, хотя и не смотрел себе под ноги.

Числа в уме не умножал, но зато помнил наизусть все исторические даты, чем наповал сразил Любу, которая по истории отвечала всегда хорошо и могла бы получать четверки или даже пятерки, но из-за незнания дат ей снижали отметки до тройки.

Об этом она поведала ему, когда однажды набралась смелости и с ним заговорила, чем Витольд Адамович был очень польщен, поскольку привык ценить женское внимание. Он слегка зарделся, с подобострастным поклоном поцеловал ей руку и охотно поддержал разговор – стал сыпать датами и ссылаться на великие исторические события, якобы имевшие для него такое же значение, как сегодняшняя встреча с ней. Люба смутилась, а затем растерялась и даже оторопела, поскольку не могла ответить тем же, и пожаловалась ему на плохую память.

Он снисходительно улыбнулся и сказал, что главное не память, а формула, схема, позволяющая держать в голове множество дат.

– Если пани пожелает, я открою ей эту формулу, чтобы она могла знать то, что не обязательно помнить.

– Как это? – спросила она с недоверчивым вызовом.

– А вот так, – ответил он и снова поцеловал ей руку, слов-

но в этом и заключалась если и не сама формула, то предварительные условия ее постижения.

Глава девятая
Что-то не договаривают

Вернувшись от отца Вассиана, Люба застала братьев за церемонной, дотошной и благочестиво-возвышенной готовкой ужина. С попутными заходами в теорию, точным соблюдением рецептуры, позаимствованной у соседей, они жарили яичницу. Яичница предназначалась явно для нее, что Любу до умиления растрогало: вот старались, заботились, изнывали от усердия, лишь бы ее, уставшую, усадить, накормить, приголубить и осчастливить.

Уж она знала, что для себя (хоть и для себя любимых) они заниматься готовкой не стали бы – выпили бы водки по большой граненой рюмке, закусили моченым яблоком и завалились спать, как не раз бывало в ее отсутствие. Да и спали, не раздеваясь, на дырявых тюфяках, набитых прелой соломой, отчего утром приходилось счищать с себя налипшие желтые струпья, греть утюг, пробуя его обмоченным в слюне пальцем, и доставать из-за шкафа гладильную доску, чтобы не выглядеть помятыми и оставаться джентльменами, (хоть и из медвежьего угла).

Ни простыней, ни одеял, ни подушек с наволочками у них поначалу не было – это уж она озаботилась и принесла с собой, – можно сказать как приданое. Принесла вместе с другими признаками уюта: стопкой тарелок, фарфоровой суп-

ницей, таким же фарфоровым половником (остатки былой роскоши – разбитого сервиза), китайским чайником с орхидеями – взамен унесенного пани Крысей и прочими мелочами.

Это их *прослезило* (на таком русском языке они подчас изъяснялись). И с тех пор братья-близнецы стали создавать для нее роскошную жизнь, окружать ее польским шиком – таким как рюмка ликера амаретто, коробка с розовой пастилой или яичница к ужину.

Все бы хорошо, но перед Пасхой, заранее, Люба обязывала себя поститься – особенно в первую неделю и на Страстной. И вот как раз Страстная, а ей на сковородке преподносят польский шик из пяти яиц, вспузырившихся оттого, что под них затекло растопленное сало от ветчины (уж откуда ее взяли, ветчину-то).

Ну как тут быть прихожанке отца Вассиана? Как не оплошать и не соблазниться?

Люба не стала говорить им, что ей этого нельзя, того нельзя, пятого, десятого – не стала, чтобы не вредничать и не обижать братьев своим отказом. И взяла на себя тяжкий грех – оскоромиться на Страстной седмице.

Впрочем, не такой уж тяжкий, поскольку, в сущности, при такой беспокойной жизни ее можно приравнять к путешествующим (у нее свои путешествия), тем же позволены послабления – разрешено нарушать пост. Им это прощается из-за того, что в дороге выбирать не приходится, что вкушать…

не те условия… и все прочее.

Вот и ей авось простится за то, что два дня наводила порядок в холостяцкой берлоге на окраине перед пустырем: таскала ведрами воду, чистила, драила, выбивала пыль, выносила мешками мусор.

Да и какая она теперь прихожанка отца Вассиана после разговора с ним на лавочке, признаний, откровений и упреков! Какая преданная ученица! Какая послушница! Скорее, напротив: ослушница, предательница и ухожанка. И посты ей – в осуждение, поскольку грешна, недостойна, не заслужила.

Так упрекала и казнила себя Люба, утоляя голод польским шиком из пяти яиц. Оба брата зачарованно и растроганно на нее смотрели, сами, наверное, голодные (животы подвело), но не подававшие вида, смиренно терпевшие – оба хоть и атеисты, но тоже своего рода постники.

А может, и не атеисты вовсе? Что-то скрывают, не договаривают, хранят ото всех в тайне? Во всяком случае, так ей почему-то иногда казалось – по случайно оброненным словечкам, присказкам, якобы шуткам-прибауткам. По тому, к примеру, что любимый сын Авраама для них не Исаак, а какой-то неведомый и прекрасный Исмаил, которого они так чтут, часто и благоговейно поминают…

Глава десятая
Не ходи на пристань

Люба ждала расспросов, как ее принял отец Вассиан, о чем с ним толковали, но вместо этого Витольд Адамович сказал ей, переглянувшись с братом, посвященным в его планы и намерения:

– Я пойду на пристань встречать твоего Вялого. Я решил.

Она чуть не подавилась и вместо соли взяла щепотку сахара.

– Как это ты решил? А я?

– Ты останешься дома… – произнес он и добавил, чтобы не возникало сомнений в том, где находится ее нынешний дом: – Останешься здесь…

– И что я буду делать?

– В дурака играть с Казимиром, пока я не вернусь.

Казимир Адамович кивнул и тем самым авторитетно заверил, что ни о чем так не мечтал, как о счастливом случае сыграть с ней в дурака.

– Да я и так дура – какого еще дурака!

– Ты самая умная, послушная и рассудительная, – тихо и внушительно произнес Витольд Адамович. – Причем здесь дура?.. Не следует так себя называть. Это роняет твою честь.

– Дура, потому что боюсь за тебя. Буду страшно волноваться. Чего доброго, завою, как баба. Он может убить тебя.

– Не посмеет. Я – пан. – Витольд Адамович озаботился тем, чтобы все в нем: и горделивая осанка, и поднятый подбородок, и завитые усы с бородкой, и надменный взгляд – соответствовали облику пана.

– Ты из тех, кто или пан, или пропал. Вот и ты пропадешь.

– Не пропаду. Я буду говорить с ним как мужчина.

– У него один разговор – ножик в кармане.

– У меня в кармане тоже кое-что имеется… – Он многозначительно поднял брови и достал из кармана завернутый в надушенный носовой платок увесистый предмет.

– Что это? Покажи. – Люба протянула руку за предметом, но Витольд Адамович держал его так, чтобы он был вне пределов ее досягаемости.

Тем не менее Люба догадалась, о каком предмете шла речь.

– Умоляю, милый, не бери, не бери с собой! Послушай меня! Не бери!

Он ногтем мизинца убрал с ресницы прилипшую соринку.

– Да это всего лишь пугач. Пуколка. В воздух стрелять. Мальчишек гонять, ворующих яблоки. Горохом заряжен.

– Врешь!

Он округлил глаза, услышав от нее такое обвинение.

– Драга пани, я, может быть, чудак и человек со странностями…

– К тому же ты психопат и неврастеник, – авторитетно добавил Казимир Адамович, чтобы ничего не было упущено из

неоспоримых достоинств любимого брата.

– Благодарю за напоминание. – Витольд благосклонно кивнул в его сторону, тем самым подтверждая свою искреннюю признательность. – Итак, я человек со странностями, психопат и неврастеник, как здесь настаивают, но я никогда не врал. Брат выпросил этот пугач у одного из своих учеников. Выпросил на время, разумеется. Подтверди, Казимир. Засвидетельствуй.

– Подтверждаю. И свидетельствую. – Казимир Адамович склонил голову так, что не оставалось сомнений: сказанное о нем не могло быть ложью. – Это пугач Яна Ольшанского.

Он погладил подбородок, оголившийся после того, как Казимир Адамович сбрил усы и бородку, чтобы хоть немного отличаться от брата.

Люба застыдилась ненароком вырвавшегося у нее обвинения.

– Прости, я же тебя люблю…

– Даже при том, что ты меня любишь, никогда так со мной не говори. Это оскорбительно.

– А ты не называй меня пани. Твои ясновельможные пани в Варшаве, а здесь у тебя я, Любка Прохорова, жена осужденного, шалава, дрянь, курва, чумичка. – У нее затряслись плечи от беззвучных рыданий.

– Что с тобой, ясновельможная пани? – Он нарочно назвал ее так, словно это обращение совершенно отличалось от тех, которые ей особенно не нравились.

– Я за тебя очень боюсь. Мне страшно. Не ходи на пристань.

– Кто-то же должен быть мужчиной. Что же мне за твою юбку прятаться?

– Тогда я завою. Я сейчас завою. Как баба.

– Лучше уж помолись обо мне, как тебя учил твой ксендз – отец Вассиан. Ведь ты же верующая. Может быть, твой Бог и мне поможет. Солнце одинаково восходит над верующими и неверующими, – сказал Витольд Адамович, но так, словно при этом чего-то недоговаривал.

– Не пойму я тебя, веришь ты или не веришь… А если веришь, то в кого…

– И не надо тебе понимать. Крепче спать будешь, – сказал Витольд Адамович и с удивлением обнаружил, что одновременно с ним это же произнес его брат:

– … крепче спать будешь.

Они переглянулись и рассмеялись такому совпадению. Но Любе смеяться вовсе не хотелось.

– Отец Вассиан мне больше не учитель. Не ксендз, – сказала она тихо.

– Поссорились? – Витольд Адамович учтиво, с вежливым вопросом заглянул ей в лицо.

– Нет, просто объяснились.

– А-а-а. – Он не то чтобы понял, в чем суть объяснения, но уважительно отнесся к тому, что люди находят время, чтобы объясняться. – Ну, и каков результат?

– А таков, что нам с ним теперь вместе хлеб не есть.

– Что означает сие иносказание? Разрыв всех отношений? Бог умер? – Витольд Адамович тронул расческой пышные (чудесный станок придал им с утра такие формы) усы, уподоблявшие его самому Ницше, могильщику Бога.

– Об этом ты спросишь у моего брата Евгения. Он большой знаток по части иносказаний. Брат тоже приедет на Пасху – как и мой бывший муж. Я ему звонила и все рассказала.

– Но ведь я здесь. Я с тобой. Разве этого мало?

– Ты не здешний. Ты здесь всем чужой, а он свой. И к тому же все-таки брат.

– Ты о нем так говоришь, как будто он непобедимый рыцарь на коне и в доспехах. Казимир, как тебе это нравится?

Казимир Адамович обозначил бессильным жестом, что нравится, не нравится, а он вынужден смириться с тем, как сестра отзывается о брате.

Витольд Адамович на это саркастически заметил:

– Значит, Бог все-таки жив, хотя и в ином, так сказать, лице. – Он встал, тем самым показывая, что произнесенная фраза дает ему повод закончить этот не слишком приятный и содержательный разговор.

Глава одиннадцатая
Криминальный батюшка

– Отец Вассиан, выдь-ка!

Высмотрев сквозь прозрачную кисею оконной занавески, кто там его окликнул из-за высокого забора, отец Вассиан не стал звать гостя в дом, а сам вышел к нему. Вышел неторопливо, с достоинством, приличествующим сану, хотя калитку поначалу не открыл – остался по эту сторону, тогда как гость поджидал его с той стороны и тоже не спешил приблизиться.

Не спешил и высматривал (брал в кадр) отца Вассиана либо поверху, над забором, либо снизу, между неплотно подогнанным штакетником. Был маловат ростом, но жилист, смугляв, с чернявой – местами лысеющей – головой и оттопыренными ушами, алыми от пронизывающего их солнца. В правом ухе висела серьга. На крепкой, загорелой шее в расстегнутом вороте красной рубахи блестела цепь.

Солнце било ему в глаза из-за макушек покрытых первой зеленью акаций, посаженных вдоль забора, но он не закрывался ладонью и даже не щурился.

– Ты, Плюгавый? – Отец Вассиан тоже взял его в кадр.

– Ну, я, я. – Тот склонился, выбирая место, куда шагнуть, чтобы не испачкать сапог. – Не зовите меня так.

– Все зовут. Вот и я по привычке. Прости, если обидел.

– У меня другая кликуха есть – Настырный.

– Буду знать. Сапожки на тебе ладные. С кого снял?

– Вот еще – скажете…

– Ладно, чего явился? Сам или кто послал?

– Сермяжный послал. По случаю Пасхи. Поздравляет вас. Здравия желает и всяких благ. Ну, и я тоже. Присоединяюсь.

– Кто ж так поздравляет. Надо как полагается: Христос воскресе. Не учил я вас, что ли?

Тот понял ошибку и послушно повторил:

– Христос воскресе.

– Воистину воскресе. Теперь похристосуемся. Только я к тебе выйду. Через калитку нельзя.

За калиткой они похристосовались – трижды расцеловались. При этом отец Вассиан уловил запах дрянного одеколона, смешанный с запашком застарелой грязи за ушами Настырного, и укололся о недобритую щетину.

– Вот и почеломкались с праздничком. На душе легче стало. – Тот просиял от гордости.

– Помылся бы ради Пасхи… – Отец Вассиан опустил глаза.

Настырный аж весь взвился от желания оправдаться.

– Не люблю я этого, не люблю… У меня от мытья чесотка. Я ж из цыган, из табора. Меня не учили…

– А коня украсть можешь? Учили?

– Тю-ю-ю коня… Целый табун могу. Ни одна подкова не звякнет.

– Нашел чем хвастать. Почему мать хворую в больницу не

кладешь?

– Она у колдуньи лечится. Заговорами, – брякнул Настырный и с опозданием спохватился, выругался сквозь зубы, хлопнул себя по лбу. – Не, не… соврал я. Врач к ней ходит.

Отец Вассиан посуровел и помрачнел.

– Али не заказывал я вам к колдуньям ходить? Али не вразумлял вас, иродов?

– Вразумляли, вразумляли, – поспешил согласиться Настырный и, чтобы загладить вину, засуетился с подарками. – Вот вам от Сермяжного. – Он достал из-за пазухи крашеное яичко и кусок кулича, завернутый в обрывок газеты, из каких старухи обычно делают кульки для семечек.

– Благодарствую. – Отец Вассиан сохранял прежний суровый вид. – Хотя кулич-то… похоже, с мухами.

– Не, то не мухи, нет… – заверил Настырный. – Это шелуха от семечек. У меня в кульке семечки были.

– Ты что – грыз?

– Я завсегда грызу. Такая же привычка, – как картишки слюнить. Еще с тюрьмы.

– Так шелуху-то выплевывай.

– Я, чтоб возле нар не сорить, ее, шелуху-то, всегда обратно в кулек сплевывал. Вот привычка и осталась.

– Ладно, зачем пожаловал? Про Вялого и Камнереза разнюхать? Признавайся.

– Про них.

– Ну, нюхай, раз такой нюхастый.

Настырный помолчал, сочтя зазорным нюхать сразу после того, как его в этом уличили.

– Правда, что выходят? Досрочно освобождают? – спросил он, явно заискивая.

– Жди-дожидайся досрочного. Я их на поруки взял.

– Добрый вы. Душа-человек. За это вас уважают. Считают авторитетом.

– Сам когда-то сидел. Понимаю.

– Спасибо вам за них. И от Сермяжного, и от всей братвы.

– Вы на них губы-то не раскатывайте, – счел нужным остеречь отец Вассиан. – Я вам их теперь не отдам. При мне будут.

– Как это? – Настырный ухмыльнулся с глуповатым недоумением.

Он погонял во рту слюну и сплюнул длинным плевком.

– А так, что я за них отвечаю. Вы их к делам-то не особо тягайте…

– Это как Сермяжный решит. У него планы-то аж до Москвы… Он теперь не вор в законе, а коммерсант и предприниматель. Депутатом хочет заделаться.

– А священником?

– Не пойдет. У нас уже есть один поп.

– Это кто же?

– Так вы же, отец. – Настырный удивился вопросу, подразумевавшему столь очевидный ответ. – Вас вся братва признала за своего. Как на партсобрании.

– А ты их помнишь, партсобрания?

– А то как же. Я ведь состоял. Меня перед самым развалом приняли – как лучшего на ипподроме. Ну а после развала я уже не на партсобраниях, а на нарах сидел. – Он оглядел свои сапожки, незримо и таинственно связанные с нарами.

– Вот и я тоже, – со вздохом произнес отец Вассиан куда-то в сторону и вновь обернулся к гостю. – Так я у вас по чину криминальный батюшка? Может, и в долю брать будете?

– Разговоры идут. Братва базарит.

– А большая доля-то? Не прогадаю? – Отец Вассиан подмигнул с азартом шутливого вызова. – Смотри, я задорого продаюсь.

Настырный все шутки принимал всерьез.

– Не обидим. Сейчас наше время.

Отец Вассиан вновь посерьезнел, помрачнел, посуровел.

– Время, быть может, и ваше, но вот я не ваш. Уж не обессудьте. Так и передай Сермяжному и братве. Исповедать исповедую и причащу. На кладбище кадилом помашу, но за своего меня не держите. На том и простимся.

– Ну а в долю-то войдете? Что мне братве сказать?

– Скажи, что у меня одна доля – Божия. Мне бы в нее войти, а все остальное приложится. Бывай, друже. Сапоги верни, если с кого снял. Не держи греха за душой.

Отец Вассиан толкнул калитку, дал ей захлопнуться и снова толкнул.

Глава двенадцатая
Змей Гордыныч

Матушка Василиса не раз спрашивала мужа, спустится ли (снизойдет ли) он на пристань – встречать Вялого и Камнереза. И всякий раз ей хотелось угодить отцу Вассиану своим вопросом, словно для него была приятна мысль о подобной встрече, которая если и не давала повод для вселенского торжества, то все-таки означала бы маленькую победу.

Ведь сколько он хлопотал, добивался, чтобы их отпустили, сколько написал писем – и в Серпухов, и даже в Москву, доказывая, настаивая, требуя, взывая к сочувствию, заручаясь поддержкой. Ведь поначалу Вялого и Камнереза не хотели отпускать, наотрез отказывали, считая тяжкой их вину (на инкассаторов напали с железными прутьями, поранили чуть ли не до смерти) и ссылаясь на то, что они и полсрока не отсидели.

Причем поведения были отнюдь не образцового, отлынивали от работы, дерзили начальству, сами бузили и зэков на всякую бузу подбивали, подначивали.

Вот в прокуратуре отца Вассиана и увещевали по-доброму: зачем вам это нужно – брать на себя такой тяжкий крест, взваливать такую обузу? Напоминали об ответственности тех, кто берет на поруки. О регулярных отчетах, писанине, канцелярской рутине. О ревизиях и негласных про-

верках.

Словом, вразумляли, остерегали, запугивали.

Но отец Вассиан характером крут («Крутенехонек», по слову матушки) и упрям – выдержал, выстоял, сдюжил и своего добился. На пятый день Пасхи прибывают голубчики, пасхальные ангелочки – Сергей Харлампиевич и Леха Беркутов (они же Вялый и Камнерез). Поэтому как не встретить, не обнять, не перекрестить обоих.

Их уже и к делу приспособили: поначалу на заводе тележки с сырым кирпичом по рельсам толкать, выставлять кирпич на просушку, а там видно будет. И при храме им работа найдется. Вялый… то бишь Сергей Харлампиевич, в прошлом гитарный мастер, музыкант с понятием, к тому же, как и Леха, отменный звонарь. Бряцает на колокольцах, как на струнах. Низы у него тяжким гулом гудят, а верхи серебром рассыпаются. Малиновый звон!

Кто-нибудь из них, молодцов, сменит наконец Саньку-бедолагу, а то она совсем измаялась на колокольню взбираться, через гнилые ступени перескакивать, колени царапать (всюду гвозди торчат), лишь бы потрезвонить к празднику.

Да и голова у нее от высоты стала кружиться…

Леха – помимо службы звонаря – снова наладится оклады для икон резать, затейливыми узорами покрывать: вот приходу и лишняя выручка.

Словом, не встретить голубчиков, не обнять, не приветить – грех…

Так говорила себе матушка Василиса, перечисляя выгоды от возвращения подопечных отца Вассиана. Но сам он не очень-то рвался на пристань. Отмалчивался себе на уме. Что-то строгал на домашнем верстаке, подливал масла в лампадки или отвечал уклончиво: «Посмотрим, какая погода».

Батюшки светы! Можно подумать, что всю жизнь только одного и боялся – плохой погоды. Ах, небо нахмурилось, холодком повеяло, заморосило, на стекла брызнуло. Как бы мне поясницу не застудить, не слечь с ломотой, ознобом и жаром.

И из дома ни ногой.

Ведь он не из таких, отец Вассиан, не барышня капризная, не мимозного нрава. Может под проливным дождем десять верст отшагать, если позвали на требы. А крестный ход на Пасху? Да пусть отверзнутся хляби небесные – он и бровью не поведет.

Поэтому что-то он скрывает, темнит: далась ему эта погода!.. Но что именно-то скрывает? Матушка Василиса ответа не находила, терялась в догадках.

И вот он пятый день, настал наконец.

Погода как по заказу выдалась прекрасная, пасхальная: не погода, а благодать. Ока вся с утра зазолотилась от солнца, заплескалась у берегов, заворковала, словно в горлышке серебряного сосуда. Но когда матушка Василиса повторила свой вопрос, Отец Вассиан твердо ответил, что встречать на пристань не пойдет. Слишком много чести. Еще оркестр вы-

вести с трубами! Торжественный марш сыграть!

И велел жене спускаться к парому, встречать прибывших, сам же – экий упрямец – решил дожидаться дома. Да и не сидеть, в окошко высматривать, а заниматься делом, кадушку под соленые огурцы ладить, трещину в печи замазывать.

Ну а пожалуют – выйдет к ним, в дом пригласит, усадит, расспросит. Она заикнулась было: «Может, стол-то накрыть позволишь? Угостим, попотчуем после тюремной-то баланды». Но он так посмотрел на нее сквозь маленькие очки (надевал их лишь для чтения), что она тотчас забыла – проглотила свой вопрос, словно его и не было. Словно она никаких вопросов и не задавала.

Тут-то ей и стало все ясно. Есть у отца Вассиана один лютый враг (помимо всем известного *врага)* – Змей Гордыныч. Он-то и не пускает отца на пристань, мнет, гнет, ломает. Веревки из него вьет и узлы завязывает.

Что ж, пускай – пойдет она. Ей голубчики, пасхальные ангелочки авось тоже будут рады. Не побрезгают.

Матушка Василиса приоделась, начистила сапожки, повязала новый платок и к парому отправилась на пристань. Отец Вассиан положил ей сорок минут: дойти до пристани, спуститься по сходням, встретить Вялого и Камнереза, перекрестить и привести домой.

Ну и на всякие тары-бары минут двадцать. Словом, через час должны быть.

Однако вскоре (не прошло и получаса) матушка Васили-

са вернулась, растерянная (новый платок сбился на плечи), обомлевшая, даже испуганная.

– Что с тобой, мать? – Отец Вассиан поддержал ее, пододвинул ей стул. – Случилось чего? На тебе лица нет.

Она схватилась было за то место, где у нее должно быть лицо, но, опомнившись, опустила руки.

– Беда, отец…

– Что за беда? Какие там еще беды на Пасху? Пожар? Наводнение? Или кто-нибудь горы своей верой сдвигает, а с тех лавины сходят?

– Витольд Адамович, Витек твой… – Она махнула рукой в сторону пристани, из чего следовало, что Витольд Адамович пребывает там, и не в самом лучшем виде (похоже, принял для храбрости).

– Что Витек? Говори, не тяни резину!

– Витек заявился на пристань. Прямо к парому.

– Час от часу! Зачем? На кой ляд он заявился? Черти его принесли!

– Захотел по-мужски объясниться с Вялым. Поставить ему, ульти… ультиматум.

– Вот дурья башка. А тот?

– Тот долго не мешкал. Как только узнал его, так сразу и убил.

Отец Вассиан уже привык к тому, что жена использовала слова на свой лад, приписывая им лишь ей одной ведомое значение, иногда самое причудливое. В этом она как дитя

малое, разговаривающее со всеми на своем, лишь ему понятном языке. Поэтому убивают у нее не обязательно до смерти, и ткнуть кулаком в плечо, а то и просто припугнуть тоже означает – убить.

Вот он и не захотел зря тратить время на выяснение у нее вопроса, *до какой степени* Вялый убил Адамыча. Вместо этого стал спешно собираться на пристань, чтобы там, на месте, самому обо всем узнать, разобраться и все до конца выяснить.

Часть вторая

Глава первая
Все решал момент

За свои пятьдесят два года Витольд Адамович не раз испытывал состояние холодной решимости и полного отсутствия страха. При этом он не обольщался на свой счет, не считал себя таким уж храбрецом и героем и вовсе не исключал, что всегда найдется повод, чтобы столь же успешно уличить себя в трусости. Ведь трусость, как и геройство, тоже состояние, причем временное, преходящее, а не постоянное свойство натуры. Во всяком случае, у большинства, хотя, наверное, есть и исключения. И причина ее – в нервозности, взвинченности и слишком развитом воображении, преувеличивающем степень грозящей опасности.

Поэтому Витольд Адамович и не мог сказать, кто же он по натуре – трус или храбрец. Та же самая нервозность и взвинченность (вместе с игрой воображения) могли вызвать в нем чувство полнейшего бесстрашия и презрения к опасности, которая два дня назад доводила его до панического страха.

Словом, все решал момент, и он приучал себя лишь пользоваться этим моментом и не упускать его. И если страха в

нем не было, спешил это всем показать, смело и решительно шел навстречу опасности.

Это состояние ему с детства очень нравилось, поскольку льстило самолюбию, возвышало и в собственных глазах, и в глазах окружающих, прежде всего брата Казимира, смотревшего на него восторженно, с немым обожанием. Оно также помогало завоевать благосклонное внимание соседских девочек, и прежде всего красавицы Каролины Боцевич, жившей этажом выше и на связанных вместе красных шнурках от ботинок спускавшей ему в окно корзиночки с любовными записками, спрятанными под маленькими эклерами (ее мать считала, что настоящие пирожные должны быть кукольных размеров) и кубиками вафельного торта.

Спускавшей, чтобы он прочел и отправил наверх – той же почтой – свой ответ.

Оно же, это состояние, вызывало уважение дворовых приятелей, смешанное с плохо скрываемой неприязнью и завистью, и доводило до обморока домашних – многочисленных бабушек, тетушек, домработниц, приживалок, гостивших в доме дальних родственников (у них была большая патриархальная семья) и особенно подверженную всевозможным суевериям и страхам мать, которая паниковала и обзванивала все морги, если он до темноты не возвращался домой.

При всей ее мнительности нельзя было не признать, что страхи и опасения матери имели под собой причину. Больше всего она боялась именно того, что ее сын ничего не боится.

Казимир – тот боялся, и мать была за него спокойна, хотя во дворе его не уважали, а скорее презирали, не удостаивая даже тем, чтобы с ним подраться, и красавица Боцевич не спускала ему сверху любовных записок. А вот Витольдом временами овладевало состояние полнейшего бесстрашия, хладнокровия, жажды риска и веселого бахвальства перед опасностью, и это давало матери повод для панического беспокойства.

В этом состоянии он десятилетним мальчиком забирался на крышу костела, чтобы оттуда пускать бумажного, размалеванного змея, катался на буфере громыхавшего по улицам варшавского трамвая, переплывал мутную Вислу, шел навстречу стае дворовых собак, покрытых коростой и лишаями, с подбитыми лапами и выдранными клочьями шерсти. К тому же половина из них отказывалась лакать воду, что было первым признаком бешенства. Все разбегались при их появлении во дворе, за гаражами, Витольд же спокойно шел и еще беспечно насвистывал.

А то и трепал за паленый загривок матерого вожака, и тот не ворчал, не порыкивал и не показывал клыки. Для всех позорно бежавших это была неоспоримая победа Витольда, которой аплодировали, словно успешному выступлению канатоходца в цирке или актера на сцене.

Вообще из Витольда хотели воспитать тихого, послушного, домашнего ребенка, который собирает марки, укладывая их пинцетом в кластер с переложенным пергаментом страни-

цами, читает романы Сенкевича и учится играть на трофейном немецком пианино с медальонами, резным пюпитром и медными, облепленными застывшим воском подсвечниками. Ему же доставляло особое удовольствие доказывать, что он не домашний, не послушный, а уличный. И на пианино он не играет, а всем назло, и прежде всего взиравшему на него бюсту Бетховена с расстегнутым воротом и львиной гривой волос, колотит по клавишам, навалившись на все педали, отчего пианино гудит как церковный орган под пальцами безумного органиста.

Поэтому, повзрослев, Витольд стал водиться с хулиганами, собиравшимися на соседней улице, в полуразрушенных цехах заброшенного завода и подворотнях старых кирпичных домов, где пахло кошками, помойкой, ваксой, скипидаром, бертолетовой солью и – ванильно, сладковато – украденным со стройки карбидом. Те сначала его выдерживали, не подпускали, несколько раз побили до синяков, изваляли в пыли новую кепку, вывернув ее наизнанку и пиная ногами, как футбольный мяч, он же не пожаловался, не привел с собой родителей, не указал на своих обидчиков и тем самым завоевал доверие.

Витольда приняли, а затем даже и полюбили, как любят тех, с кем когда-то дрались и кому пускали вьюшку – малиновую струйку крови из разбитого носа.

Со временем он сам уподобился блатной соседней улице. Витольд стал ходить, надвигая кепку на глаза и засовывая

руки в карманы, курить дрянной табак, набивая им найденную на свалке трубку, с притворным наслаждением глотая едкий дым и заходясь судорожным кашлем. Стал приставать к прохожим, выклянчивая мелочь («Дяденька, дай… дай»), и сквернословить им вслед, если ему мало давали или с возмущением отказывали.

Сквернословить, отцеживая грязную ругань с особым удовольствием бывшего увальня, рохли и маменькиного сынка.

Домашние пытались отвадить сына от этой ужасной улицы, наказывали его, оставляли дома, запирали на ключ дверь. Но Витольд спускался вниз по старой пожарной лестнице, пачкая ржавчиной ладони, и вновь до темноты пропадал, а его мать, верная своей привычке, обзванивала морги, где ее уже знали, жалели и успокаивали: «Не волнуйтесь, дорогая. Ваш сын скоро будет дома. Во всяком случае, к нам он не поступал».

Но это было только начало его подвигов – дерзновенных свершений, вновь и вновь возвещавших о холодной решимости и отсутствии страха.

Глава вторая
Какая солидарность!

Когда семья Витольда переехала в Гданьск, где его дядя служил счетоводом на судоверфи, он и вовсе отбился от рук, как о нем говорили домашние. Впрочем, отбился – это мягко сказано. К тому времени он уже успел где-то год проучиться, бросить, жениться, развестись, отрастить бороду и усы, хотя для всех по-прежнему оставался мальчишкой, и это заставляло предположить, что кто-то из них если не полностью слеп, то откровенно близорук и способен различать лишь размытые контуры окружающих предметов.

В конце концов выяснилось, что подобная близорукость – фамильный недуг, которому подвержены прежде всего они, его близкие, он же для них – далекий. Далекий и непонятный, поэтому лучше уж тешить себя иллюзией, что он все тот же мальчишка, отбившийся от рук, хотя их дрожащие руки и не дотягивались до него, а лишь слепо шарили, стараясь совместить его прежний образ с тем, кем он был сейчас.

Собственно, для них ничего не изменилось и в то же время все изменилось. Витольд почти не бывал дома, вечно где-то пропадал и возвращался лишь для того, чтобы наскоро поужинать, переночевать и утром снова исчезнуть. Брат Казимир, раньше других догадавшийся, куда и зачем он так надолго исчезает, стал многозначительно, с загадочной

улыбкой повторять, отводя глаза в сторону и позволяя себе ускользающий оттенок иронии: «Ах, подумать только – какая солидарность!» Затем и другие домашние стали догадываться, и тогда употребляемое Казимиром слово вместе с начальной прописной буквой и кавычками приобрело несколько иной – пугающий – смысл: «Солидарность».

«Вы слышали? Он примкнул к этой ужасной «Солидарности». Какой кошмар! Все это кончится массовым расстрелом и пролитой кровью, как в семидесятом году!» – перешептывались домашние. Но все-таки к тому времени они уже постарели, поседели (на голове остался лишь прозрачный бело-розовый пух), едва передвигали обмотанные резиновыми бинтами ноги, прихрамывая и опираясь о палку. Витольду же было за тридцать, поэтому просто не пустить его, как раньше на соседнюю улицу, они не могли. Силы были не те; чуть что – начиналось сердцебиение и одышка. И его несчастной матери оставалось лишь, вытирая слезы, робко молить, чтобы он не ходил на судоверфь (к дяде, забастовщику и бузотеру, члену стачечного комитета, закадычному другу Леха Валенсы).

Он целовал ее в лоб, укутывал плечи вязаным платком и клятвенно обещал, что не будет собой рисковать. На самом же деле рисковал, и еще как, и все с тем же бесстрашием. Витольд распространял – рассовывал по карманам – «Листок забастовщика», писал (малевал) плакаты, окуная в гуашь малярную кисть. Он стоял в живой цепи, охраняя ми-

тинги, привозил на мотоцикле фляги, покрытые марлей корзины с горячей едой и самые необходимые лекарства – словом, был и швец, и жнец.

Его ценил сам лидер стачки, электромонтер и могильщик польского коммунизма Лех Валенса, обещавший Витольду – разумеется, это была шутка – высокую должность в новом правительстве и министерскую зарплату.

Его не раз арестовывали, держали под арестом, допрашивали, грозили, затем все-таки выпускали и обещали в следующий раз уж точно не выпустить.

– Получите срок, приятель. Сядете. Ваш друг Валенса вам не поможет. Вся жизнь насмарку. Вы этого хотите? – спрашивали у него с усталой любезностью, за которой мог последовать лишь вздох бессильного сожаления.

– Я не знаю, чего я хочу, – старался он обойтись малозначащей фразой, раз уж нельзя было отделаться молчанием.

– Мятущаяся душа. А раз не знаете, то и, может быть, и хотеть не надо? – Им явно забавлялись.

– Я хочу свободы. – Он старался поднять себе цену.

– А что это такое? – спрашивали у него с искренним удивлением, словно свободой могло оказаться то, что они по неведению принимали за что-то другое.

– Отсутствие принуждения, наверное… Или что-то в этом роде. – Он не утруждал себя поиском точных формулировок.

– Так вот идите, уточните, а потом возвращайтесь. Мы вас ждем. Не беспокойтесь, ваше место никто не займет. Мы вам

обещаем.

– Какое место? Где? – спрашивал он с невольной обеспокоенностью по поводу причитающегося ему места.

– В международном спальном вагоне, разумеется. Где ж еще! – отвечали Витольду, предоставляя ему полную свободу понимать под спальным вагоном все, что заблагорассудится.

Когда «Солидарность» победила, начались перемены, опалы на коммунистов и дележ власти, Витольд почувствовал, что новая Польша ему не то чтобы вовсе чужда (все-таки он был патриот), но как-то скучна и неинтересна. Для него все словно бы поблекло и потускнело. Все-таки он был поэт. А поэту без стачек и забастовок, без лозунгов и намалеванных гуашью плакатов и приткнуться-то негде – не то что расправить вольные крылья.

Все-таки он был романтик, пропитанный ванильным запахом карбида, – завсегдатай темных подворотен и проходных дворов, а получалось так, будто вместо желанной, блатной, *соседней* улицы – вот она *своя,* нежеланная и постылая. Поэтому Витольд почувствовал себя лишним, ненужным, обманутым, захандрил, затосковал и впал в уныние.

От предложенной ему высокой (уже без шуток) должности отказался, хотя и с неким реверансом в сторону брата Казимира: назвал того более достойным и дал самые лестные рекомендации. К этим рекомендациям прислушались и готовы были с ними согласиться, хотя Казимир в отличие от

брата не штурмовал… так сказать, Бастилию, не рисковал жизнью и не боролся за перемены, а скорее – этаким соглядатаем – наблюдал со стороны.

Тем не менее должность ему предложили, но тот не принял такого подарка и сказал, что для него высшая награда – быть рядом с братом. Высокая должность уплыла и растаяла, как матово сверкающая под солнцем оплывшая льдина в океане.

Но братская любовь и – старой памяти – солидарность не лвдина: не уплывет и не растает.

Глава третья
Чеченский Мицкевич, он же Данте

Осенью девяносто четвертого по холодку, наступившему после летней жары, когда по утрам призрачно всходили туманы, обволакивая молоком низины и овраги, они с Витольдом отправились на Кавказ – в Чечню. Прошедшим летом там грянуло, ухнуло, запылало, все заволокло молоком, но только не туманов, а минометных взрывов.

Отправились – повоевать против московитов, о чем дома благоразумно умолчали, чтобы избежать рыданий и женских истерик, зато всем прочим так и докладывали: «Повоевать», чтобы разом отсечь любое желание допытываться, вникать и выведывать истинные причины их поступка.

Повоевать – тем более против русских – самый вразумительный и достойный мужчины ответ. Лучше не бывает. Сразу снимает все ненужные, праздные вопросы.

Тем не менее свои *причины* у них были, и прежде всего у Витольда, зачинщика этой авантюры и безумной затеи. По ночам, пробравшись в комнату брата и присев на краешек его постели, Витольд шепотом исповедовался ему, мечтал, распалялся, грезил наяву. Он переживал тогда такой блаженный период: на него в очередной раз накатило бесстрашие и жажда подвигов. Казимир же, хотя и боялся (бесстрашным он не был), не мог отпустить брата одного, бросить на про-

извол судьбы – этого он бы вовек себе не простил.

После ночных исповедей и мечтаний братья решили принять ислам и взамен старой, ветхой, наскучившей и отжившей обрести новую веру и, главное, новую солидарность – с чеченцами и всем мусульманским миром.

В Польше восставшим чеченцам сочувствовали, их даже любили (главным образом потому, что сами ненавидели русских и не раз против них восставали). И Витольда с Казимиром обещали тайком – по подложным паспортам, козьими тропами, со всякими предосторожностями – переправить. Лишь бы не обнаружилось, что поляки воюют в Чечне (иначе не избежать скандала).

И переправили – благополучно – через границу, а уж там правдами и неправдами они добрались до Грозного.

И вот тут-то выяснилась некая странность, связанная с их прибытием, для чеченцев весьма эксцентричная и даже диковатая, попирающая привычные устои. Стремление поляков принять ислам они с энтузиазмом приветствовали и поддерживали. Но вот какой казус: пророк Мухаммед осуждал поэтов, грозил им муками ада, а Витольда и Казимира потянуло на подвиги не столько воинские, сколько литературные. И они прибыли в выжженную минометным огнем Чечню даже не то чтобы воевать (какие из них в сущности вояки), а скорее – воспевать.

Такая в них обнаружилась блажь и причуда: воспевать в стихах героизм чеченских братьев и всячески унижать рус-

ских.

При этом, разумеется, проповедовать и превозносить польские (смешанные с общеевропейскими) ценности: демократию, свободу слова, шляхетскую гордость, святость самой польской нации и прочую туфту и мутоту, далекую от реальной жизни, но зато близкую поэзии, ведь не случайно же они – Мицкевичи.

Называя свое имя, каждый из них не раз с гордостью произнес: «Мицкевич. Миц-ке-вич. Поэт». Тем самым обозначалось, что эта фамилия для них высший дар, и он обязывает.

Их сначала не поняли, посчитали, что всему виной *неверные* словари и путеводители, с помощью которых они пытаются изъясняться. Поэтому к ним отнеслись любезно и снисходительно и, стараясь вразумить, показывали им на автомат Калашникова, всячески внушая: «Стрелять. Надо стрелять. Пиф-паф». Но они упорно твердили свое, чем вынудили чеченцев ими в конце концов возгнушаться и их почти запрезирать, словно они спрятались под женину юбку или по ошибке – вместо мужского – опозорились и зашли в женский туалет.

Но они продолжали твердить свое, воздевая руки к небу и тем самым показывая, на какую высоту их поэтическое вдохновение вознесет храбрость чеченских джигитов. В Польше их ничто на это не вдохновляло. Но на Кавказе, среди гор, водопадов (почему-то им грезились повсюду эти гремящие

по камням водопады), адских ущелий и пропастей, кинжального блеска снеговых вершин и небесной бирюзы к ним снизойдет оно, желанное вдохновение.

Снизойдет если не к ним обоим, то хотя бы к Витольду, который еще в школе кропал стишки, воспевая тамошних красавиц, и прежде всего Каролину Боцевич, спускавшую ему на связанных вместе красных шнурках любовные признания.

Но то были именно стишки, в Чечне же он надеялся создать нечто, что можно назвать стихами. Стихами в духе Мицкевича или даже самого Данте (то, что он мнил себя чеченским Мицкевичем – уж это само собой, но Витольд поднимал выше – аж до самого флорентийца, создателя мрачных картин ада).

Однако помимо этого они и постреливали: неудобно было отсиживаться, как трусам, в женском туалете. Вместе прятались в окопах, защищали выжженный дотла Грозный: Витольд стрелял из миномета, а Казимир, затыкая уши и пригибаясь к земле, волоком подтаскивал ящики со снарядами.

В первый же месяц приняли ислам, затвердив на арабском и произнеся вслух Шахаду, исповедание веры: «Ля иляха илляллах». У них появились вторые, тайные арабские имена: Витольд стал Али, а Казимир – Алимом.

Затем Витольд был ранен, полгода провалялся в госпитале, под капельницами, его дважды оперировали, уже не надеясь спасти. Но он все же поднялся в некоем истеричном

порыве и напряжении всех жизненных сил, превозмог, поправился и даже не стал инвалидом. Брат демобилизовался вместе с ним, но в Польшу они не вернулись по многим причинам, а главным образом потому, что там о них благополучно забыли и не хотели вспоминать. Если победителей не судят, то побежденных – очень даже охотно, с азартом, упоением и даже неким особым сладострастием. Им же не удалось победить, и даже более того, они уступили желанную победу ненавистным русским.

Поселились они поначалу в разных местах. Казимир – на Оке, в маленьком, заспанном и тихом Бобылеве, а Витольд – во Львове, где он неожиданно (стремительно и взвинченно) вторично женился на одинокой вдове, сменил паспорт, взял фамилию жены и о своих подвигах в Чечне благоразумно помалкивал. Затем так же неожиданно развелся, вернул себе собственную фамилию и переехал к брату.

Переехал, чтобы приводить в порядок свои стихи, наскоро записанные, не отделанные, не отшлифованные, не ухоженные, не умытые до подобающих размеров, с длиннотами и повторениями (все-таки он надеялся их издать и мечтал о Нобелевской премии). При этом философствовать (в записной книжке скопились кое-какие мысли), восхвалять чистоту исламской веры, оплакивать утраченное величие Польши, во всех бедах обвинять Москву и отрешенно созерцать накатывающую волнами Оку: она чем-то напоминала ему родную, хотя и мутноватую Вислу.

Но вот с тихим созерцанием ничего и не вышло. В Бобылеве он страстно, обморочно, суеверно влюбился в красавицу, на двадцать лет моложе его, но при этом проклятую русскую, которая к тому же была замужем, и не за кем-нибудь, а за осужденным. Это породило в нем мучительную раздвоенность (разодранность кровоточащей души, как он сам выражался в стихах), приводившую к истерикам, взвинченности, всяким вывертам, затемнявшим сознание и лишавшим его способности сказать, любит он или ненавидит.

А главное – трус он или смельчак.

Так случилось и на этот раз – в пятый день Пасхи. Хотя Витольд Адамович заранее сказал Любе, что пойдет на пристань, в тот момент он еще не знал, обернется ли его нервозность опасливостью, нерешительностью, трусостью или же одарит его бесстрашием. Но на пятый день Пасхи, еще с утра, Витольд Адамович понял, что сегодня он – герой (только бы не напакостил ему – по рифме – геморрой), и решил воспользоваться этим, тем более что давно уже не переживал подобных упоительных состояний.

Поэтому он и пошел на пристань по-мужски объясняться с Вялым. Даже если бы из этого объяснения ничего не вышло, все равно у него, *побежденного,* был бы повод себя уважать, даже собой гордиться. А главное, его поступок мог бы внушить красавице Любе гордость за него.

Любу же решили от греха подальше спрятать – отправить в старику Брунькину, травнику, целителю и старцу, хо-

тя старцем он себя не признавал и избегал называть (другие звали). Витольд Адамович выказал решительное намерение ее проводить, но она рассмеялась (одновременно застыдилась) и сказала, что вместе они скорее заблудятся, а то и вовсе пропадут. И отправилась по тайной тропинке одна – в лесное убежище старца.

Глава четвертая
В ересиархи подался

Травник Сысой Никитич Брунькин никогда не называл себя старцем, что, конечно, разочаровывало тех, кто у него бывал и заваривал травы по его рецептам, выписанным на полосках березовой коры или сухих кленовых листьях. Вся бумага в доме давно вышла, кроме старого, полуистлевшего отрывного календаря, листки которого карандаш протыкал насквозь.

«На доносы в патриархию извел ее, бумагу-то», – признавался Брунькин, с лукавой выжидательностью глядя на слушателей: поверят ли или уразумеют, что смысл произнесенной фразы в чем-то ином и сказанное им не сказ, а иносказание?

«Так ты все-таки, выходит, старец?» – спрашивали те. «Никак! Не беру на себя сие ответственное долженствование». «А мы-то грешным делом почитали тебя за старца», – сетовали бывавшие у старца и вздыхали, из чего следовало, что в другой раз они теперь, может быть, и не придут, не соберутся (дел слишком много, да и хвори, слава Всевышнему, отпустили).

Поэтому, желая вознаградить их за такое разочарование, он под видом сообщаемой им тайны доверительно признавался с самым серьезным видом, правда слегка подмиги-

вая (помаргивая правым, затянутым морщинистым бельмом глазом), что он если и не старец, то – уж доподлинно – первостатейный русский розенкрейцер.

«Я, матушка, розенкрейцер, посвященный, самый натуральный, первостатейный, только это секрет. Имеющий уши да слышит. – Прижимал к губам заскорузлый палец. – Уж ты, пожалуйста, сделай милость – не выдавай». «Так розенкрейцеры всякие – это ж бесы», – ужасалась посетительница. «Насчет бесов не знаю. А вот за розенкрейцера ручаюсь. Вишь, у меня за окном – розы, а на груди – крест. Вот и кумекай, отчего у моих трав такая целебная сила».

И смеялся тихим смешком, подхихикивал…

Сам он был ветхий, истончавшийся, истлевающий (во всяком случае, ношеный-переношеный подрясник на нем и впрямь давно истлел), в чем-то шальной, словно опоенный. Иногда ступал не туда, особенно левой ногой в драном, стоптанном лыжном ботинке (выглядывали пальцы ног с желтыми ногтями). Подчас терял слух, но читал и писал «без линз», как он говорил – без очков, хотя очки для солидности иногда надевал.

Читал-то без линз, зато телевизор у него был с маленьким экраном и линзой – старый, допотопный КВН, каким-то чудом еще помигивавший, работавший, что-то показывавший сквозь набегавшую волнами рябь и помехи.

«Что это он у тебя показывает – не разобрать», – недоумевали посетители. «А по-моему совсем не то показывает, что

по вашему. Встань-ка рядом с ним, и он тебя насквозь просветит, все внутренности покажет со всеми болячками». – «Шутишь?» «Шучу, шучу», – успокаивал он, хотя кое-кого рядом с телевизором (или за ним) ставил и внимательно изучал, что при этом показывают.

Власти – в том числе и церковные (из Серпухова) – о старчестве Брунькина деликатно умалчивали, этого не касались, но зато проводили дознание, по какому праву он лечит, есть ли у него соответствующее образование и диплом. На это Брунькин отвечал одной и той же загадочной фразой: «Не первый раз на свете живу. Кое-какой мудрости набрался».

Слышавшие считали это оговоркой и поправляли: «Не первый год, наверное, живешь-то».

Но Сысой Никитич поправки не принимал и стоял на своем: не первый раз. А если кто-нибудь продолжал приставать с поправками, вопрошал, задавал глубокомысленный вопрос: «А скажи, милок, почему в Библии, к примеру, у одного мужа бывает много жен?»

Никто ответить ему толком не мог, и тогда он сам отвечал: «А потому, что один дух проходит через множество воплощений, пока не наберется опыта и сноровки. Палингенесия, по Матфею, – рождение заново, перерождение, многожизние. Я старичок умишком своим вострый. Я умишком своим до чего допер-то, а? Не метампсихоз, переселение души, а именно перерождение, иначе бы создавалась видимость, будто душа человека переселяется в оленя, лягушку, муху,

пчелу. Не переселяется, а перерождается. Недаром сказано: «Блажен тот, кто пребывает до того, как возник». Пребывает там на небе до того, как возникнуть здесь на земле. Имеющий уши да слышит. Так-то, любезные».

От этих слов серьезные люди отмахивались, как от лишней мороки, и тогда Сысой Никитич убеждал их средствами кино. Он приводил заученную фразу из когда-то виденного фильма, что *академиев* он не проходил, а всему научился от отца, потомственного травника, когда-то вылечившего самого товарища Яна Эрнестовича Рудзутака, и бабки Улиты.

Та, сидя на печи, доподлинно знала, где какие травы взошли, какие из них уже набрали силу, годятся для лечения, а с какими следует годик-другой потерпеть и обождать.

Жил он в комнатке на пятом этаже облезлого блочного дома грязноватого желто-розового цвета (все похвалялся, будто живет во дворце), под самой крышей. Летом, в июльскую жару, крыша накалялась от солнца – что твоя печь. Брунькин же в шутку сравнивал себя с библейскими Седрахом, Мисагом и Авденаго, коим, по приказу Навуходоносора брошенным в печь за дерзкое непоклонение языческому истукану, печной огонь не причинил никакого вреда, и они остались живы. «Вот и я Седрах, Мисаг и Авденаго в одном лице. Гляньте – живехонек, – с усмешкой указывал на себя Брунькин. – Кроме того, я не токмо здесь обитаю, но и в лесу живу, хотя и без прописки».

Все слышали, что в лесу у него избушка, где он сушит тра-

вы и готовит лечебные настои (а иногда и водку настаивает на мяте и зверобое: этим лекарством сам от простуд всяких лечится). «А кто дал разрешение на избушку?» – спрашивали его. «Так где она, избушка-то? Вы сначала найдите, укажите – тогда я и отвечу, кто дал право».

Отправлялись искать – и не находили. Брали проводников из бывавших, надежных, испытанных, и те не могли указать дорогу, путались, терялись. Водило их, кружило, морочило. Мнилось, что с десяток верст отмахали, сами же вокруг одной кочки топтались.

Люба у Брунькина бывала, приносила кое-что, убиралась в избушке, хотя он особо не дозволял ничего трогать – так, лишнюю пыль смахнуть, но нужную оставить. Что такое нужная пыль, Брунькин не разъяснял…

Она потом рассказывала – докладывала – о нем отцу Вассиану. Тот пытливо выспрашивал – все до мельчайших подробностей, любопытствовал, интересовался, хотя, по собственному признанию, чего-то в Брунькине недопонимал. Не мог его раскусить, этот крепкий орешек: слишком толстая кожура – зубам не поддавалась.

Хотя о Брунькине кое-что знал – из того, что обсуждалось в высших церковных сферах (слухи ходили). К примеру, был осведомлен, что звали Брунькина в монастырь, старались приблизить к церкви, обещали признать старцем, поселить в скиту – все честь по чести: для церкви было бы престижно заиметь своего старца.

Но Сысой Никитич отказывался:

– Не совпадаю.

– С чем ты не совпадаешь? С матерью нашей православной церковью?..

Брунькин отвечал замысловато, что не совпадает он с христианством историческим и христианством традиционным. У исторического на совести много крови, а традиционное – то ключи потеряло.

– Какие ключи? От Царства Небесного? Так они у апостола Петра на поясе.

– Нет, мои милые, ключи от тайн.

– Каких еще тайн?

– Тайн Царства Небесного и сокровенных знаний. Поэтому у традиционного христианства свой крест – посеребренный, позлащенный, камнями драгоценными усыпанный, но не животворящий. Так-то, милые. Разумейте.

Отцу Вассиану не раз пересказывали эти разговоры. Он вникал, пытался в них что-то уразуметь, докопаться до сути, до самого главного. Но самое-самое – ядрышко – ускользало. В руках же оставалась одна шелуха.

«Это чистейшая эзотерика. Гностицизм! Ишь розенкрейцер-то наш куда метит. В ересиархи подался», – в конце концов решил про себя отец Вассиан и с тех пор стал звать Брунькина эзотерическим старцем.

Глава пятая
Неназванный

– Пожаловала, Любушка моя! А я сегодня-то тебя и не ждал – не обещалась. Чай стряслось что-нибудь? Кто-то обидел? Кручину на тебя навел?

Брунькин искательно всматривался ей в лицо, чтобы не упустить выражения, которое поведало бы ему больше слов о том, что произошло и кто навел на нее кручину.

– Сегодня Сергей возвращается. Муженек. Отпустили на поруки. – Люба резко отвернулась и стала смотреть куда-то в сторону, чтобы не видеть ничего перед собой – в том числе и Брунькина с его искательным – жалостливым – взглядом.

– Ах ты, господи! Его же позже ждали. – Сысой Никитич почувствовал себя виноватым за самого себя и свой неуместный взгляд.

– Ждали позже, а вышло раньше. Можно у вас пожить? Хотя бы недельку побуду, а там мы с Витольдом посмотрим. Быть может, во Львов уедем.

– Так лучше в Москву. Москва-то ближе. Почти под боком.

– Там остановиться негде. Да и Витольд Москву не любит.

– Как же ему любить, когда там памятник гражданину Кузьме Минину и князю Пожарскому стоит, а не Гришке Отрепьеву с его кралей на коленях – вот был бы памятник! Мо-

нумент!

– Не корите его.

– Да я и не корю. Охоты нет.

– Он умный, смелый, великодушный… к тому польский патриот. И я его люблю, несмотря ни на что. И буду любить.

– Любишь, любишь, а любовь… гм… зла. Зла, тетенька. Ах, не то говорю, не то говорю, – спохватился Брунькин, что сплоховал со своими речами.

– Скажите *то.* Вы же старец.

– Неназванный, – поправил Сысой Никитич. – И церковью непризнанный. И ты меня старцем не величь. Я у Бога вольнонаемный. Работник в винограднике, получивший динарий.

– Вольнонаемный? Да по мне хоть какой… – вырвалось у Любы, и она сразу пожалела, что не по-доброму это сказала.

– Сердишься на меня за то, что я тогда Витольда твоего не принял? А знаешь, почему? Потому что они с братцем его Казимиром – близнецы, то бишь атеисты. Или выдают себя за атеистов.

– И что?

– Это атеисты во всем друг на друга похожи – не отличишь. Верует же, любушка, каждый по-своему.

– Будто бы. А то я верующих близнецов не видала.

– Где ж ты их видала?

– Да ими все храмы переполнены. Особенно если приспело куличи святить…

– Ну, куличи… – Брунькин не стал ронять достоинства и высказываться о куличах. Вместо этого добавил кое-что к прежнему разговору: – Ну и кроме того, Витольд твой против нас чечетку отбивал. Он большой мастер насчет чечетки.

– Как это отбивал? Какую еще чечетку?

– А такую, что в Чечне против нас воевал.

– В Чечне? Он мне не рассказывал.

– И не расскажет. Не дурак.

– А я и знать не хочу. Люблю его и все, – сказала Люба с веселым вызовом.

– Люби. Никто не запрещает. – Брунькин сник и поскучнел.

– А как вы узнали про Чечню?

– По телевизору показывали. По *моему* телевизору. – Брунькин счел нужным обозначить голосом, что телевизор принадлежит именно ему, а не кому-то другому. – Правда, помехи были, и я не разглядел, сколько он там наших-то уложил.

– У него близорукость. Он плохо стреляет. Зато он – поэт.

– О! – Брунькин позволил себе восклицание по не совсем ясному поводу. – Вот и оправдание ему готово. У нас всему найдется оправдание. Всех простят – и поэтов, и чечеточников, и медвежатников, и голубятников. Закон никому не указ. Ладно, пойдем – я тебя во флигеле устрою. Только там у меня гость из Серпухова – патриарх Никон. Он сейчас чай пьет. За травами для владыки Филофея пожаловал. Хворает

владыка. Неможется ему.

– Тогда я здесь подожду.

– Пойдем. Не стесняйся. Патриархом-то он в одной из прежних жизней был, ныне же – псаломщик Симеон, молоденький, совсем мальчишка, хотя и с иноческой бородкой по скулам, и румянец у него необыкновенный – цветет, как пунцовая роза. И волосы вьются – ну просто ангел золотые власы.

– А почем вы знаете, что он был патриархом?

– По телевизору сказали. Между прочим, твой будущий муж.

– Чё?! Чё такое говорите-то?! – Люба возмутилась, но, как всякой женщине, ей было втайне приятно и зазорно слышать о своем будущем замужестве.

– Знаю, что говорю. Вот увидишь. Под венец с ним пойдешь. Венец над вами держать будут и белое полотенце постилась под ноги.

– А мой Витольд?

– Я же сказал – Симеон.

– Да я, небось, старше его лет на десять.

– На двенадцать с половиной лет. И ростом он пониже. Такая будет пара супружеская. Образцовая. Загляденье. Душа в душу всю эту жизнь проживете, а там Господь посмотрит по вашему поведению, куда вас определить.

Глава шестая
Скиталец, но не паломник

За окном сверкнуло, громыхнуло и ухнуло – прокатился первый весенний гром. Стекла словно выгнуло на солнце засиявшей от прямых лучей бритвой, и заструился дождь. Зашуршал, замямлил, загугнил, зашепелявил в листьях.

Посвежело. Вскипавший воздушными волнами дождь донес запах прибитой пыли на дорожках, мокрых, подгнивших до винного привкуса ступеней крыльца, жестяного, замшелого по стыкам рукавов водостока на шиферной крыше.

Снова ухнуло – словно с треском разорвался небесный тугой коленкор. От удара грома Люба испугалась (за зиму отвыкла) и перекрестилась, а Брунькин обрадовался, засмеялся, возликовал: «Вот травы-то теперь попрут!»

Но дождь продержался недолго – тут же стал опадать и стих.

Брунькин, переступая через лужи и стараясь не зачерпнуть воды своим дырявым лыжным ботинком, отвел Любу во флигель, как называл вторую избу. Там за чаем сидел псаломщик Симеон, весь распаренный, взмокший, а румянец и впрямь необыкновенный, щеки так и горят, и колечки волос к вспотевшему лбу прилипают.

– Что, ангел? – спросил его Брунькин, ободряя гостя, который мог без него приуныть и соскучиться. – Хорош чаек?

Поведай, как там владыка?

– Кашляет. Похоже, хронический бронхит.

– Вылечим. Я вот ему травки отсыпал – передашь. – Брунькин достал матерчатый мешочек, затянутый аптечной резинкой. – Знакомься – это Люба Прохорова. Пришла на тебя поглядеть.

– Сысой Никитич… – У Любы резко обозначились скулы, она нахмурилась и гневно вскинула на старца полыхнувшие фиалковым пламенем глаза.

– Засмущалась… – Брунькин ласково улыбнулся, показывая, что гнева ее ничуть не боится.

Симеон тем временем поднялся, отряхнул руки, поправил подрясник.

– Очень рад. – Он не знал, протянуть ли Любе руку или просто поклониться.

– Божественному обучена. – Брунькин вовсю нахваливал будущую невесту. – Как сказано в одной древней книге, тщательно исследует об истине и о божественном и имеет сердце, обращенное к Господу. Стало быть, легко принимает все.

Люба еще больше нахмурилась и на похвалу оказалась не слишком податливой.

– Нет, ко мне скорее применимо другое речение: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Я – именно такая, – поправила она Брунькина.

Сысой Никитич воззрел на нее с изумлением. Он что-то про себя отметил, смекнул, но ничего не сказал и продолжил

свое:

– И брат у нее, знаешь, какой умный? Второй Ориген Александрийский. Она у него многому научилась. Ну и отец Вассиан по мере сил ее просвещает. Ты с ней о божественном-то потолкуй. Обсудите из Екклесиаста: «Пускай хлеб свой по водам и через много дней снова обретешь его». Что сие значит – хлеб по водам пускать? И как его можно через много дней обрести? А ведь тут мудрость великая.

– Не разумею, – покаянно признался Симеон. – У владыки Филофея при случае спрошу.

– Владыка тебе вряд ли ответит. А вот братец Любин тот может…

– Что-то он мне про эту фразу говорил, а я забыла.

– Он тебе напомнит. Прибыл уже?

– Обещался к обеду.

– Как же он без тебя-то устроится?

– Не пропадет. Витольд ему ключ передаст от моей комнаты. Или пока в гостинице поселится. Он нашу маленькую гостиницу очень любит. Ему там хорошо.

– Вона! Значит, странник в душе, раз гостиницы – постоялые дворы – любит. Скиталец, но не паломник, поскольку вещественные святыни не чтит. Бога в самом себе ищет твой братец.

– А как Его в себе без святынь-то найдешь?

– Он знает, но не всякому скажет. – Сысой Никитич посчитал, что и сам сказал Любе больше, чем нужно, и поэто-

му обратился с советом к псаломщику Симеону: – Ты в библиотеке книгу возьми про патриарха Никона и Новый Иерусалим. Почитай. Тебе полезно.

И когда Симеон удивился: что за польза подобные книги читать, Брунькин ему едва заметно – с глумливой подначкой – подмигнул левым глазом.

– Прочти, не пожалеешь. Тебя особо касается.

После этого же потер глаз, словно наказывая его за подобные вольности, чтобы тот зря не моргал, а вел себя чинно и пристойно – как и полагается глазу неназванного старца.

Глава седьмая
Изменила!

Сергей Харлампиевич Прохоров, по кличке Вялый, ни из тюрьмы, ни из колонии жене не писал. Он обещал себе (дал этакую клятву), что на двадцать писем отвечать не будет, а, получив двадцать первое, напишет. Причем, думалось ему, что напишет так хорошо, по-доброму, с любовью, как не смог бы написать, отвечая на предыдущие девятнадцать.

Но двадцать первое так и не пришло: ее письма иссякли после семнадцатого. Он тогда еще не знал почему и считал, что причина в его затянувшемся молчании: мол, сам виноват. Ответов на ее письма не слал, а кто ж без ответов писать станет. У самой терпеливой терпения не хватит.

Словом, Люба наверняка просто устала посылать письма в неизвестность, в пустоту, в никуда. Поэтому он уже хотел ответить на семнадцатое, но сам себе воспротивился, выругал себя за слабость, не разрешил нарушить собственное обещание, тяготевшее над ним как клятва.

Сергею Прохорову казалось, что каждое его письмо Люба будет воспринимать как униженную просьбу его дождаться, сохранить ему верность, а он просить – унижаться – себе не позволял. При этом ради самоуспокоения рассуждал так. Если было меж ними что-то, способное заменить просьбу, то Люба и так дождется, если же не было, то самое терпеливое

ожидание не будет иметь смысла, как не имеет смысла ничто в этой паскудной жизни, в этой мельтишне, суете-мутоте (ничто, кроме недавно открывшейся ему веры).

Восемнадцатое письмо все же хоть и с задержкой, но пришло – обычное письмо, где Люба спрашивала, как он, что ему необходимо, что прислать – вязаные носки, курево, плиточный чай, в чем у него особая нужда. Но почему-то эти вопросы так его разжалобили, умилили, умягчили душу, что Сергей Харлампиевич у себя на нарах, отвернувшись к стенке, прослезился (глазелки взмокли).

И тогда он решил плюнуть на свое обещание. Плюнуть и на восемнадцатое ответить, не дожидаясь двадцать первого. Но тут узнал от дружков новость, от которой онемел и оглох. Верная женушка Люба, по слухам, ему – бац! – изменила с поляком Витольдом, одним из братьев-близнецов, и будто бы меж ними великая любовь, и Люба переехала к нему жить.

Переехала со всем хозяйством, с бельем и посудой и тем самым, как бритвой по глазам полоснула своего мужа…

Поначалу он не поверил.

Вспоминал ее письма, вспоминал свое недавнее умиление, растроганные слезы на глазах. Но Сергей Харлампиевич знал за собой одну особенность, свойство характера: в неверии он был неустойчив, легко поддавался сомнениям и наконец сдавался – начинал верить, и подобная вера была крепка, как скала: не разубедить, не сдвинуть (доказательство тому – его выстраданное православие).

Вот и сейчас Сергей Харлампиевич уверовал, что Люба изменница, порочная, гадкая, и мечтал отомстить, ее жестоко и безжалостно наказать. Ведь она его наказала – вот и он должен был ответить, отмерить – выровнять чаши весов, поровну распределив гирьки, и тем самым восстановить поруганную (заплеванную, обхарканную) справедливость.

Но этому мешало то, что отец Вассиан за него поручился перед прокуратурой и лагерным начальством, и это вынуждало вести себя тихо, не брыкаться, воздерживаться от мести, лишь бы отца своего духовного не подвести. Но желание мести напирало, и ему нужно было доброе вмешательство и участие своего благодетеля повернуть так, чтобы оно оказалось злым и корыстным. Тогда он мог бы разом наказать обоих – Любу за измену, а отца Вассиана за непрошенную (навязанную ему) доброту.

Для этого, не придумав ничего лучшего, решил дать отцу Вассиану денег, и немалых, – в знак сыновней преданности, благодарности за освобождение: «Вот примите, отец, на нужды храма. От чистого сердца».

Или что-то в этом роде…

Если возьмет, значит, корыстен, а где корысть, там и зло, и всякие напасти. А если не возьмет, что вполне вероятно? А если эти денежки швырнет ему в лицо (скорее всего так и будет)? Тогда сотворенное отцом Вассианом добро во стократ умножится и обретет такую силу, что Сергею Харлампиевичу с ним никогда не совладать. Умнет, сплющит, раскатает

оно его, как асфальтовый каток. И останется ему лишь вечно себя казнить и проклинать.

Нет, деньги вещь ненадежная – гораздо лучше в этом случае другое: болезненная мнительность, воспаленная ревность, запальчивое подозрение. А отсюда и до желанной мести всего один шаг. Шагнул – и, считай, отомстил (раздал всем сестрам по серьгам, и серьги такие, что красота, одно загляденье).

Тут в голове у Сергея Харлампиевича все смешалось, как в доме Облонских, и он стал подозревать. Подозревать, что неспроста… неспроста Люба так преданна отцу Вассиану… что у них, голубчиков, шуры-муры, нежное воркование и сплошные амуры. Витольд же для них так, маскировка, ширма, завеса в Иерусалимском Храме (про Храм этот кое-что читал и слышал на проповеди), удобное и надежное прикрытие.

Глава восьмая
От гадалки Макарихи

Когда Сергей Прохоров увидел – разглядел в толпе на пристани – Витольда, желание отомстить Любе и отцу Вассиану мало-помалу рассеялось и исчезло, а вместе с ним отпала необходимость подозревать и откупаться деньгами. Все это показалось нелепыми фантазиями, пустыми – вздорными – измышлениями, тогда как Витольд, чья фигура навязчиво маячила перед глазами, был реальным воплощением всего самого чуждого, враждебного и ненавистного.

Вот он вышагивает в сапожках с подвернутыми голенищами по пристани. Вышагивает, гладко (до синеватого отлива) выбритый, с оставленными пышными, чуть завитыми усами, бородкой и красивой сединой, выбившейся из-под высокого картуза. Пан!

Приподнимая над головой картуз, всем кланяется – сама учтивость и любезность. И при этом кого-то нетерпеливо высматривает сквозь нелепый, затрапезный (извлеченный из чердачных завалов, из старого хлама и рухляди) монокль на длинной ручке.

Высматривает и выискивает глазами.

Кого же, как не его, Серегу! Ради него и пожаловал сюда один, без Любы (ее-то, наверное, спрятал в надежном месте).

И всю свою жажду мщения Сергей Харлампиевич из-

лил на поляка, улыбчивого (сахарная улыбка), обаятельного, всех располагающего к себе, и от этого еще более гадкого и отвратительного для Сергея.

Тот тоже издали его заметил и подошел. Приложил два пальца к козырьку.

– Имею честь представиться, Витольд Мицкевич. У меня к вам мужской разговор. Отойдем-ка в сторону.

Сергей Харлампиевич сразу согласился, закивал, даже подпустил в свое согласие чуток угодливости, приниженности перед такой важной персоной.

– Сей момент. Если надоть, то и отойдем. Только в какую? Их здесь четыре, сторонки-то.

– Какая вам нравится.

– Мне-то? Да хоть какая…

– Ну, тогда извольте вот сюда, за дебаркадер.

– Пожалуйста. Как скажете. Как велите.

Зашли – завернули – за дебаркадер, в заросли орешника. Оба слегка нагнулись под ветками.

– Вот и хорошо. Здесь нам никто не помешает. – Витольд Адамович снял картуз и пригладил волосы.

Серега прикинулся простачком – этаким лохом.

– Уж вы, пожалуйста, приборчик ваш оптический уберите. Не пугайте им бывшего зэка.

Витольд брезгливо спрятал монокль за спину.

– Так пойдет?

– Нет, уж вы его в карман. И позвольте полюбопытство-

вать. Бить будете? Пощечиной удостоите? Буду премного благодарен, потому как заслужил по грехам моим тяжким. Вы – по левой, а я правую охотно подставлю.

– Не ломайте комедию, Вялый. К тому же в Евангелии наоборот: кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. То есть левую.

– Ба! Вы и Евангелие читали!

– Не только Евангелие, но и Коран.

– В почтении склоняюсь. Тем более – бейте. Или из Царь-пушки вашей пальните. У вас ведь, наверное, и пушка есть в кармане.

– Есть, есть. Не сомневайтесь.

– Так пальните же. Не побрезгайте. Цельте прямо в лоб. Или я сам в себя пальну, а вас за это посадят. И никто на поруки не возьмет.

– Зачем же палить. Или бить!

– За тем, что мы оба бывшие. Я – бывший мусульманин, а вы – христианин.

– Хоть бы и так… – Витольду Адамовичу не слишком хотелось признавать себя бывшим. – Тем более договоримся. По-человечески.

– О чем это договоримся-то? Ась? – Серега, подражая глухому, приблизил ладонь к уху.

– О разводе. Дайте Любе, жене вашей, развод. Хотя суд вправе вас развести и без вашего согласия как осужденного.

– А я вона… освободился.

– Полагаю, это особого значения не имеет.

– Тут полагать мало. Надо точно знать.

– Хорошо, я справлюсь у юристов.

– Только учтите, что на суде я заявлю, что вы воевали в Чечне. – Он заинтересовался чем-то, валявшимся под ногами, и, нагнувшись, поднял смятую, пустую пачку из-под сигарет.

– Откуда вам известно? – Витольд помрачнел и нахмурился.

– От гадалки Макарихи. Есть такая в зоне… осужденным гадает. – В пачке оказалась сигарета. Серега чиркнул спичкой и закурил, нагло пуская дым в лицо Витольду Адамовичу.

– Суд не учтет. Потребуются доказательства. Я буду отрицать. – Тот стал отмахиваться от дыма.

– Найдутся доказательства. Скажу на суде, что я сам чеченец. Вы же… А ты у меня чачу – самогон покупал.

– Вранье. Бессовестное вранье.

– Не вранье, а я тебя запомнил. У меня и свидетель есть – Леха Камнерез. Он подтвердит.

– При чем тут какой-то Леха?..

– А при том, что не Леха, а Лех… что, учуял?

– Что я должен учуять?

– Ну, Лех, Лех… Леха ты должен знать.

– Слушайте, давайте на *вы.*

– Заслужи сначала. Сознайся, пся крев.

– В чем сознаваться?

– В том, что у меня дружок Леха, а у тебя Лех. У вас с ним полная взаимность. То бишь солидарность. Фамилию назвать?

– Не надо.

– То-то же. Это я к тому, что на суде всплывет, на какие разведки вы работали с Лехом-то. И эти подвиги тебе зачтутся.

– Досье на меня собрал.

– А как же – готовился к встрече.

– Как вас там… Тихий, Вялый, Вяленый, давайте не будем. Договоримся по-джентльменски, по-хорошему.

– По-хорошему, а сам в кармане за свою пуколку держишься. Доставай, доставай… Только кто быстрее достанет: ты – пуколку, а я – ножик. – В руке Сереги блеснул лезвием нож. – Вострый, как бритва. Полоснуть по горлу, и готов… Готов, чтобы предстать перед престолом Всевышнего. Вон у матушки Василисы от страха глаза на лоб полезли. – Серега углядел вдалеке матушку, в этот момент с ужасом наблюдавшую за ними и прикрывавшую рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть.

– Угрожаешь?

– Нет, угождаю. Угождаю тебе, перламутровому, за то, что ты, перламутровый, жену у меня увел.

– Она по любви ушла.

– Тю! И я должен ей за это развод давать?

– Да, ей – развод, твоей Любе.

– А я думал, Любе-продавщице. У нас тут продавщица в магазине – тоже Люба. Я их теперь путаю.

– Не паясничайте.

– Да разве мы себе позволим. Мы тихие. Вялые мы.

– Я знаю, что ваше прозвище – Вялый. Вы четыре года отсидели. Любаша вас ждать не обязана. У нас с ней все серьезно, по-настоящему. Поэтому просим у вас развод. Развод. Сколько можно повторять. Твердить вам одно и то же.

– Картуз-то надень. Замерзнешь, мусульманин.

– Какой еще картуз? – Витольд Адамович скривился оттого, что его назвали мусульманином.

– А тот, что у тебя в руке. – Сергей Харлампиевич усмехнулся, а затем, словно прислушиваясь к чему-то далекому, почти неслышному, произнес: – Развод вам, значит? Развод захотели? Ну что же, это можно. Это пожалуйста. Только карман пошире держите. Вот вам развод… – И сложил из трех пальцев известную фигуру, именуемую по-простому кукишем.

Глава девятая
Имени Оригена

Моросил, тихо стлался, шелестел в прозрачной апрельской листве дождь. Четыре пасхальных дня погода держалась прекрасная, а вот на пятый после полудня – на тебе! – небо по всему окоему словно сажей вымазало (обложили низкие облака), сразу потемнело и задождило.

Под ногами развезло, зачавкало, захлюпало и за шиворот струйками потекло. От такого удовольствия (почти блаженства) – только зябко содрогнуться, задвигать лопатками, разгоняя кровь, надсадно крякнуть и нечистого помянуть…

Отец Вассиан пожалел, что зонта не захватил, хотя матушка Василиса с крыльца его окликала, уговаривала вернуться, зонт протягивала: «Возьми. Будет дождь». Готова была сама устремиться вдогонку, лишь бы послушался, приостановился, чуток обождал.

Но нет, не внял ее благоразумным призывам. Как всегда, на себя понадеялся, на змея Гордыныча: из упрямства не взял зонта – вот и мокни теперь.

И самое досадное, что без толку мокни, без всякой пользы.

Ни Вялого, ни Камнереза на пристани он не застал. Не то чтобы вовсе пуста была пристань, но толпа встречающих схлынула, и толкался иной народец – кто с удочками, кто

с кошелками, набитыми хлебом для поросят (тут магазин неподалеку).

А хотелось взглянуть, как Серега Вялый Витька убивал, по словам матушки Василисы, какой у них вышел мужской разговор, какое полюбовное объяснение. Пальнул Витек из своего пугача или хотя бы пригрозил им Вялому?

Но уж, видно, все кончилось. Витек с пристани счел за лучшее благоразумно удалиться. И Вялого с Камнерезом уже куда-то унесло, шальным ветром подхватило и сдуло. Хороши голубчики! Уж не к своим ли подельникам-браткам подались?

Кто-то из братвы их наверняка здесь, на дебаркадере, встречал – не зря же подосланный к отцу Вассиану Настырный все вынюхал, выспросил, выудил с иезуитской дотошностью – дознаватель…

Вот и отвели их к Сермяжному под белы рученьки – для инструктажа: тот любит инструктажи проводить, недаром в райкоме комсомола столько лет упревшим задом стулья грел, штаны протирал.

Комса она и есть комса…

Впрочем, с комсой-то он немного хватил. Там штаны не протирали: ребята хваткие, тертые, оборотистые, всему наученные. Знают, с какого конца к любому делу подступиться, кому что посулить, кого на чем взять.

Им только надо было знак поменять (комсомольский значок с пиджака снять и к заднице пришпилить, чтобы свер-

кало). Все теперь либо в коммерции, либо по части ОПТ – организованных преступных групп, хотя там тоже своя коммерция, конкуренция, дележка сфер влияния.

К тому же нынешние ОПГ – по сути замена комсомольским ячейкам. Разумей, какие ячейки лучше…

Рассуждая о нынешних ОПГ и бывших ячейках, отец Вассиан корил себя за то, что сначала не хотел спускаться на пристань, змея Гордыныча в себе тешил, а затем так припозднился. Вот и прошляпил, дурья башка, проворонил.

Он пригляделся к тем, кто еще оставался на пристани, маячил вдалеке, прятался от дождя под старыми липами. Их было человек девять-десять: бабы с кошелками, старушки с мешками непроданных семечек и два рыбака с богатым *уловом* — торчащими из карманов телогрейки синеватыми горлышками поллитровок.

Тут же – мальчонка на велосипеде, возвращавшийся с поздней рыбалки. У него свой улов. В руке – пузырем – наполненный зеленоватой речной водой целлофановый пакет, в котором (вместе с мутным илом) плавали рыбешки. На жаренку не хватит, а коту поужинать – в самый раз…

И совсем уж поодаль, под навесом, оставшимся от бывшей билетной кассы (кассу перенесли на недавно пригнанный дебаркадер), – некто в длинном, похожем на подрясник пальто, с шарфом, обмотанным вокруг шеи и непокрытой головой.

Перед ним на траве – обтянутый ремнями саквояж.

Отец Вассиан нацепил свои линзы (так называл он очки, не то чтобы подражая старцу Трунькину, но вот прицепилось – и называл): лицо, похоже, знакомое. Впрочем, лица толком и не разглядишь за круглыми очками и бородой. Волосы спутанными от дождя, слипшимися прядями ниспадают до плеч, и одна прядь – серебряная (красивая седина).

Всем своим обликом – чужак, приезжий. Но лицо явно знакомое, чертами кого-то напоминает – не брат ли Любы?

Отец Вассиан подошел поближе. Приложил два пальца к виску и сразу отдернул руку, опасаясь, что кто-нибудь уличит его в том, что этим жестом он подражает Витольду Мицкевичу.

– Простите, вы с парома или с лодки? Лодочник сегодня – Якуб?

– Какой Якуб?

– Возведенный в квадрат, а после – в куб, ха-ха, – пошутил Вассиан Григорьев и сам же рассмеялся своей шутке. – С заячьей губой и рваным ухом. Наш, бобылевский.

– Не знаю. Я на пароме переправлялся. – Слегка грассирует и говорит немного в нос, что придает его дикции, особенно внятному, тщательному выговору слов (каждое произносит со старанием) некое очарование, заставляет к нему прислушиваться, даже слегка дивиться такой особенности речи.

– Только что прибыть изволили?

– Только что. На последнем пароме.

– Будем надеяться, что не последний. – Отец Вассиан все

пытался шутить. – На наш век еще хватит. К родне какой или к знакомым пожаловали? Извините, что спрашиваю, но у нас так принято: городок маленький все свои, на улицах здороваются. Ну и прочее…

– Простите, что не поздоровался. Стал забывать здешние обычаи. Как блудный сын из дальних мест вернулся. Родня у меня тут.

– Не Люба ли Прохорова?

– Она самая. Люба.

– Так вы ее брат Евгений из Питера. То-то, смотрю, лицо знакомое. А по батюшке? – спросил отец Вассиан и счел нужным оправдаться за свой вопрос: – Батюшка-то ваш редко сюда наезжал, а в храме нашем и не бывал вовсе. Вот и не сподобил Бог с ним познакомиться.

– По батюшке я Филиппович. Отец был военным.

– Филипп! Апостольское имя. Славой апостола Филиппа осененное – того, кого привел ко Христу Нафанаил.

– К тому же Филипп – автор Евангелия. Сие, мне кажется, даже важнее.

– Апокрифического!

– В апокрифах тоже много верного.

– Вы считаете? Ну-ну. – Уважение к гостю не позволяло сразу высказывать несогласие с его мнением. – А Евангелие от Даниила тоже, наверное, чтите, хе-хе?

– Такого не знаю. Не читал. Это что же за Даниил?

– Как же, как же. Даниил Андреев, узник Владимирской

тюрьмы, автор «Розы мира». Сейчас многие увлекаются. Задрав штаны, следом бегут, как раньше за комсомолом.

– А, «Роза». В ней, как и в теософии, много верного. Во всяком случае, для своего времени.

– Ах, вот как! Вы, стало быть, превзошли.

– Не то чтобы превзошел, но мы в нашем кружке пошли дальше.

– Исправили ошибки и двинулись дальше. Похвально. – Отец Вассиан умел сказать так, что оставалось до конца неясным, что он хвалит, а что порицает. – Умаялись, поди, с дороги? Бока поумяли на вагонной полке? – спросил отец Вассиан на правах того, кто и сам на подобных полках вдоволь намял бока.

Но гость отклонил намек на дешевую солидарность.

– Не особо-то и поумял: не так уж долго ехать. Всего одну ночь в поезде. Что-то вот сестра не встречает…

– Да как ей вас встречать, если ее муж на одном пароме с вами причалил – Сергей Харлампиевич, хотя на самом деле он Ахметович.

– Так это он был, мой родственничек. До того изменился, что я его и не узнал. Да, наверное, и я изменился. Он-то все ко мне приглядывался, приставал с вопросами. За священника меня принял, ха-ха.

– Он прилипчивый, охочий до веры. С исламом у него не вышло, так он в православие подался.

– Почему же не вышло? Ислам – великая религия.

– Великая-то великая, но скучно стало каждую пятницу в мечети молиться, пост соблюдать, *салят – закят,* имама во всем слушать, а в православии – свобода.

– Это верно. Если кто во Христе – тому свобода.

– Да я немного не в том смысле. – Отец Вассиан уклончиво, с намеком улыбнулся в редкую поросль волос на подбородке, заменявших бороду. – Его свобода такого свойства, что лишь бы, знаете, была беленькая, пусть даже крашеная.

– Свобода беленькая? Вы каким-то шифром выражаетесь. Не совсем понимаю.

– Православных баб оченно уважает и любит, особливо блондинок. Вот вам и шифер – всего-то навсего. А вы что же Библию изучаете – там, в Питере-то? Я вас босоногим мальчишкой помню, а теперь вы поди богослов…

– Не я один: есть и единомышленники. У нас кружок, воскресная школа.

– При церкви?

– Не совсем. По домам собираемся.

– И что же за кружок?

– Имени Оригена Александрийского.

– Оригена? Погодь, погодь. Так он же еретик, помнится, ваш Ориген. Осужден вселенским собором. Предан анафеме. Не шутка.

– Так он в пятом веке осужден собором, а до этого был весьма почитаем. Никто его в ересях не обвинял. Наоборот, чтили.

– Вона как. Не знал. Хотя я тоже до книг зело охоч, да и сам, признаться, мараю бумагу, пишу. Так… «Записки о вере». Вот Пасху проводим, и будет обсуждение у Полины Ипполитовны. Приходите. Хотели раньше, на Пасху, но тут Красная горка – сплошные венчания. Пришлось отложить. А вы пишете?

– Я не дерзаю. Но среди нас есть такие, что и пишут. Алексей Бойко, Соня Смидович, Сакари Саарисало, Рейо и Риитта Сууронен. Даже опубликовано кое-что.

– Интернационал. Сейчас многие горазды писать. Свободу почуяли. Надо бы нам с вами как-нибудь поговорить. О душе, о вере…

– С превеликим удовольствием. Приветствую каждую экзегезу.

– Что приветствуете?

– Толкование. Комментарий.

– Так вы Библию толкуете?

– Толкуем. Только не по букве.

– А как же?

– По духу толкуем. Тайные шифры расшифровываем.

– Вот видите – и у вас шифры. Куда ж без них в наше время. Интересно. Я тут буду свои записки читать в одном доме. Приходите, если не боитесь поскучать.

– Вы меня уже пригласили.

– Простите, запамятовал. От волнения. Все-таки дебют, можно сказать. В мои-то годы.

– Приду, приду. А где же сестра, однако? – В его взгляде промелькнула озабоченность и тревога.

– Полагаю, вряд ли она вас сегодня встретит. Разве что Витольд, ее жених. Так, может, соблаговолите ко мне? Устроим на первое время. Шифровальную машину вам на грузовике подвезем.

Евгений Филиппович улыбнулся, и улыбка была немного вымученная, принужденная, поскольку шутка – не слишком удачная.

– Ничего, если не встретят, я в гостинице пока что остановлюсь. Я ведь люблю гостиницы. У меня отец был военный. Каждый год – новое назначение. Вот и пришлось поездить всей семьей, полстраны исколесить.

– Да, мне Люба что-то рассказывала. Бухара, Самарканд, Сахалин, Курилы. Широка страна моя родная… – Отец Вассиан в знак прощания склонил голову, вновь приложил к виску два пальца и отдернул руку.

Глава десятая
Жертвы не потребовалось

В детстве Евгений Филиппович – тогда еще просто Женя, носивший круглые очки, большелобый, гладко причесанный мальчик-блондин (позднее его вьющиеся волосы сначала обрели каштановый оттенок, а затем почернели, как у цыганенка) – с трудом и величайшими муками заводил друзей. Ему страстно хотелось их иметь, но этому всякий раз мешало непреодолимое препятствие.

Для настоящей дружбы – дружбы на долгие годы – как непременное условие требовался *выбор* и *испытание.* Он же, сын военного, к тому же прямого и честного, с неуживчивым характером, не успевал ни выбрать, ни испытать будущего друга. Как правило, в выборе ошибался. Ошибался, не желая отвергнуть и обидеть тех, кто добивался его дружбы, ходил за ним следом, устремляя на него просительные, умоляющие, заискивающие взоры. И исправить эту ошибку не помогало никакое испытание в верности и преданности, поскольку заранее было ясно, что тут и испытывать нечего: все равно верный предаст, а преданный изменит.

Вот и приходилось невыправленную ошибку – неверного изменника-друга – за собой тянуть и терпеть, как тяжкую обузу.

Совершить же правильный выбор Женя не успевал из-за

того, что отец, не желавший угождать начальству и ходить в холуях (его словечко), постоянно получал новые назначения и семья вечно переезжала. Вязала тюки и паковала дорожные чемоданы. Поэтому и наскоро выбранный друг Жени попадал в разряд временных и ненастоящих, призванных уступить место другому – будущему – другу.

Да и тот в свое надлежащее время тоже уступал. В результате друзей у Жени не оказывалось вовсе, и он – при всей жажде их иметь – страдал от одиночества. Одиночества во дворе, где гулял лишь под своими окнами, и в классе, где учился, вечно сидя один за партой. На него смотрели как на новичка или, наоборот, второгодника, с которыми если и можно было подружиться, то лишь по случаю и на самое короткое время.

Со своими временными – зачаточными – друзьями они при расставании обменивались адресами, обещая друг другу писать, и некоторое время действительно переписывались. Но потребность в этом быстро иссякала, поскольку их, разделенных тысячами километров, ничего не связывало, каждый был сам по себе и оба не знали, о чем писать.

Писали о какой-то ерунде – даже самим было противно, и кому-то первому надоедало, кто-нибудь первым переставал отвечать на письма. Другой же обижался и в отместку – тоже переставал.

На этом их зачаточная дружба благополучно заканчивалась. Заменой ей могла бы, наверное, стать первая любовь,

но для нее должно было наступить время. Пока же этого не происходило, над обоими несостоявшимися друзьями-приятелями властвовало убеждение, что, собственно, дружить можно только с мальчиками. А раз этого не случалось, то вожделенное *можно* превращалось в обидное до слез *нельзя*.

Превращалось, оставляя лишь неудовлетворение, разочарование, досаду и потребность в чем-то неопределенном, смутном, неясном, зато, конечно (а как же иначе!), истинном и настоящем.

Поэтому подлинным открытием для Жени стало то, что, оказывается, дружить можно и с девочками. Вернее, даже не с девочками вообще, а с одной из них – сестрой. Пусть даже младшей по возрасту, но зато близкой, постоянно находившейся рядом, как его сестра Люба. Раньше он не обращал на нее внимания как на сестру, а воспринимал ее как нечто назойливое, противное, капризное и крикливое, способное лишь канючить, хныкать и кривляться. И уж, конечно же, не снисходил до того, чтобы с ней всерьез о чем-то разговаривать.

Но однажды, когда они остались дома одни (родители ушли в гости) и им велено было поужинать и лечь спать, по какому-то случайному поводу заговорил. И его поразило, что эта противная, крикливая девчонка, к тому же ябеда и задавака, способна быть настоящей сестрой. Оказывалось, что она ябедничает и задается лишь потому, что мечтает о нем как о брате и стремится стать заменой его глупым, про-

тивным, ненавистным для нее дружкам и приятелям.

Так между ними свершилось.

Свершилось нечто очень важное, значительное, почти святое. И вернувшиеся из гостей родители застали не вечно дерущихся, щиплющих и пинающих друг дружку волчат, а умных, любящих и преданных друзей.

Правда, к тому времени Женя уже запоем читал книги, похищаемые из книжного шкафа родителей (у него был второй ключ, потерянный ими и поднятый им с пола). И его страшило, что возникшая дружба с сестрой потребует жертвы – отказа от книг (им придется уделять меньше внимания). Но оказалось, что Люба тайком перечитала все его книги и с ней можно было говорить о них часами, подробно и обстоятельно, спрятавшись ото всех в чулане, где у них было секретное место, освещенное красным фонарем для печатания фотографий, или забравшись с ногами на старый диван и отгородившись подушками.

Словом, жертвы не потребовалось, и книги не помешали их дружбе. Когда Женя увлекся шахматами, Люба, стараясь не отстать от него, стала ходить к доброму и подслеповатому старичку-гроссмейстеру, жившему в их доме. Вскоре за шахматной доской, во время ожесточенных сражений она стала исподволь помогать брату советами и подсказывать ходы, не позволяя ему подумать, что он избежал разгрома и позорного проигрыша лишь благодаря ее незаметным подсказкам.

Так же получилось и с велосипедом, купленным им на

двоих. Его выпрашивал у родителей Женя, настаивавший на том, чтобы велосипед был непременно мужской, с верхней *рамой.* Но, когда его купили и распаковали, он испугался, что не сможет перенести ногу через верхнюю раму (она казалась такой высокой), не удержит равновесия и непременно упадет, ушибется, поранится и разобьется.

Не признаваясь в своем страхе (иначе во дворе засмеют), он под разными предлогами избегал садиться на купленный велосипед. Женя притворялся, что ему не хочется, что он занят чем-то другим, и в лучшем случае по-детски катался *под рамой,* неуклюже изогнувшись, не садясь на сидение, лишь держась за руль и умудряясь крутить педали. Поэтому Люба, хотя и была младше, первой научилась кататься по-взрослому, а затем научила Женю ставить левую ногу на педаль, правую же, оттолкнувшись от земли, переносить через раму.

И у Жени получилось, и он перестал жалеть о том, что не попросил велосипеда без рамы, и Люба радовалась вместе с ним как самый настоящий, испытанный и верный друг.

Словом, Женя и Люба во всем поддерживали друг дружку, во всем были заодно. И только в одном согласие меж ними нарушилось, и они разошлись, но это случилось уже потом, когда оба повзрослели, Женя получил свое апостольское отчество и стал Евгением Филипповичем – не по букве, а по духу.

Глава одиннадцатая
Надрыв

Случалось так, что после нового назначения отец вдруг менялся до неузнаваемости – становился шумным, разговорчивым, даже болтливым, постоянно шутил, смеялся, сыпал каламбурами, никому не давал и слова вставить. Сказывался какой-то напряг и надрыв. Это в глазах матери могло означать только одно: либо он чувствовал приближение *падучей* — очередного запоя, либо собирался отправиться к месту службы один, без семьи, но не смел сказать об этом прямо и открыто, оттягивал решающий момент.

Но мать Жени и Любы уже обо всем догадывалась. Догадывалась и ждала, когда же ему надоест притворяться и он наконец скажет.

Отца с его неискушенным притворством хватало ненадолго, он сдавался, но вместо короткого уведомления (любимое словцо отца) о своем решении начинал размазывать по столу манную кашу (излюбленное словечко матери). Он пускался в долгие объяснения, сбивался и твердил одно и то же с таким видом, будто каждый раз – при очередном заходе – изрекает нечто совершенно новое: «Неизвестно, что нас там ждет. Зачем рисковать? Надо сначала разведать, провести рекогносцировку на месте, а уж потом я вас вызову. Без рекогносцировки нельзя, никак нельзя. Иначе это риск, при-

чем неоправданный, а зачем, зачем?»

Далась же ему эта рекогносцировка, словно именно ею, и только ею, он надеялся всех убедить!..

Мать на словах с ним соглашалась (иначе бы он без конца повторялся и твердил одно и то же), хотя видела все по-своему. Она была очень умна и слишком хорошо его знала. Ему *хотелось.* Хотелось оторваться от семьи, почувствовать себя этаким разведчиком, рекогносцировщиком, первопроходцем, а по существу – вольной птицей, жаворонком, вылетевшим из гнезда, чтобы, расправив крылья, взвиться под облака и парить в воздушных потоках.

Ему в этом никогда не препятствовали. Давали полную свободу. Все позволяли. Во всяком случае, он должен был так думать: вот ему все позволяют. Тогда он – жаворонок – быстро уставал парить и, сложив крылья, камнем падал обратно в гнездо.

Вот и в случае с рекогносцировкой мать не возражала. Она принимала все спокойно. Только немного опасалась за него, поскольку (опять-таки зная своего мужа) наперед предвидела, что там, на новом месте, он заскучает. Она не говорила, что затоскует, впадет в уныние, черную меланхолию и, пожалуй, даже запьет. Не говорила, чтобы не обидеть, не уколоть, не уязвить его, не вызвать в нем упрямого желания противоречить.

Нет никакой тоски. Никакой черной меланхолии. Просто немного заскучает. Поэтому не лучше ли взять с собой ко-

го-то из детей? Скорее всего, Любу, его признанную любимицу, папину дочку. И он, уже угадывавший приближение падучей (отсюда болтливость, шутки-прибаутки), хватался, как утопающий за соломинку: «Любу? Конечно, возьму. Ну а Женя – он твой любимчик – пусть остается с тобой, чтобы ты не скучала».

Вот такой хитрец, якобы обходительный и заботливый: чтобы ты не скучала. Хорош гусь! А самому лишь бы заполучить дочь, сгрести ее в охапку, уволочь с собой. И там на нее молиться как на идола и ею спасаться, когда *накатит* (а накатит непременно), создавать надежный заслон от всех невзгод.

Женя же для матери таким заслоном не был. Скорее ей самой приходилось его защищать и оберегать.

Мать была родом из Бобылева, называемого ею *нашим* Бобылевым, принадлежащим всей семье, ее общим достоянием, хотя отец его своим не считал и ездил туда неохотно, лишь по крайней необходимости (сам он родился на Сахалине). Мать же в Бобылеве расцветала, молодела, сбрасывала лет двадцать и становилась похожей на ту девчонку из детства, какой себя помнила. Сидела над Окой, свесив ноги с обрыва; гуляла вдоль берега по заветной тропке, хотя и тропки-то никакой не было: размыло дождями, заглушило репейником и лопухами. А вот она распознавала, угадывала, и получалось, что тропка – для нее одной, ей подвластная, подчиненная ее желаниям: захотела – есть, а не захотела –

так и нет вовсе.

И все было таким, соотносимым с нею, извлекаемым из глубин памяти и по ее повелению получавшим вторую жизнь, обновленное, очищенное от всего лишнего, ненужного, привнесенного, случайного бытие.

В Бобылеве у нее был свой дом, который она называла родительским, нарочно не продавала, все берегла и сохраняла из старых вещей (в этом секрет их постоянного обновления) и пользовалась любым поводом, чтобы туда вырваться на месяц, на неделю, на два дня и хотя бы немного там пожить. Полюбоваться Окой из окон, по-детски удивляясь тому, что в каждом окне она и та же, и немного другая. Подышать привычными с детства запахами морилки, которой усердно покрывали мебель, а лаком покрыть после этого либо забывали, либо обнаруживали, что он давно высох и потрескался на дне старой канистры. Послушать знакомый скрип половиц, тиканье часов с гирьками, пиковыми стрелками и жестяным циферблатом, звон посуды в недрах грозного идолища – буфета, чутко отзывавшейся на шаги.

Словом, и пожить, и ожить.

Вот они и жили вместе с сыном, и получилось так, что его детство – хотя и урывками – все-таки прошло в Бобылеве. И Женя вдоволь надышался запахом морилки, наслушался скрипа половиц и научился так мягко ступать, проходя мимо грозного идолища, чтобы не шелохнулись ни чашки, ни блюдца и рюмки. Или, наоборот, прыгать и скакать возле

него, чтобы вся посуда вовсю звенела и подпрыгивала.

Да и не только детство, но и большая часть отрочества, юности – словом, целая жизнь.

Разлуку с сестрой он переносил тяжело и мучительно – как потерю лучшего друга, тосковал о Любе, постоянно слал ей длинные письма-исповеди, на которые она аккуратно и обстоятельно отвечала, хотя в ответ особо не исповедовалась. Больше спрашивала о нем, о себе же молчала. Женя долго не мог понять, почему и что бы это значило, и вдруг его осенило: в детстве они не задумывались о том, что их родители неверующие (особенно убежденным атеистом был отец). Но ведь и он повзрослел, и она незаметно повзрослела, его сестра. Поэтому и задумалась – всерьез, по-настоящему. Задумалась и – поверила. И исповедуется она теперь в *другом* месте, собственно, для этого созданном и предназначенном, – в храме. И принимает ее исповеди не кто-нибудь, а законный, на то поставленный исповедник – тамошний батюшка.

Но и сам Женя с недавних пор тоже стал бывать в храме, в чем сестре он, однако, не признавался. Хранил это втайне от нее – не потому, что не доверял ей, а потому, что мнительно не доверял всяким побочным (и от этого навязчиво подозрительным) обстоятельствам: бумаге, особенно в клеточку, конверту, почтовым маркам, не доверял расстоянию, которое должно было преодолеть письмо, и потраченному на это времени.

Так именно в разлуке каждый из них обрел для себя то, в чем они – впервые за всю жизнь – не совпали, а потом и разошлись: веру и храм. Именно каждый в отдельности, когда же после этого встречались, прежнего единения не было: что-то именно не совпадало.

Особенно это несовпадение стало заметно, когда отец затосковал от одиночества (ему не удалось взять с собой Любу) и окончательно спился где-то в маленьком гарнизоне на Дальнем Востоке, среди сопок, замшелых валунов и зарослей багульника. Спился и сгинул – заблудился и замерз в тайге (не смог разжечь костер отсыревшими спичками).

Женя тем временем уехал учиться в Ленинград (о смерти отца он узнал позже), поселился у родственников на углу Гороховой и Большой Морской, а Люба с матерью стали постоянно жить в Бобылеве.

Но тут несовпадение меж ними приобрело иной характер. Сестре нашлась замена: в Питере у Жени наконец появились друзья и единомышленники: Алексей Бойко, Соня Смидович, Сакари Саарисало. К тому же брат писал сестре, что его отношение к храму и вере меняется, что рукотворный храм – не то место, где надо искать Бога, что он хочет обрести Его в самом себе, старался увлечь этим Любу и звал ее за собой.

Ее ужасали признания брата. Она не делилась ими даже с отцом Вассианом на исповеди, в чем себя винила и упрекала. В письмах же она отмалчивалась, отделывалась уклончивыми обещаниями и – за братом не шла.

И когда должен был вернуться из заключения муж, отпущенный на поруки отца Вассиана, Люба вызвала брата не столько для защиты – какой он защитник, сколько для того, чтобы Женя был рядом и она смогла бы высказать ему наедине то, о чем молчала в письмах.

Глава двенадцатая
Вечером приперлись

Когда отец Вассиан вернулся с пристани, уже стемнело, еще больше похолодало, потянуло сыростью от непросохших низин, от непротаявшего льда в канавах и буераках. Над Окой повисла синеватая муть, засветились окна в домах, фонари помигали, помигали, иные погасли, а иные хоть и в полнакала (на подстанции, как всегда, экономили), но зажглись вечерним, желтым – желудевым – светом.

Отец Вассиан собирался рассказать матушке о встрече с Евгением Филипповичем, бывшим босоногим и сопливым Женькой Прохоровым, но затем осекся, засомневался: стоит ли рассказывать? Все-таки брат Любы – чего доброго старые дрожжи снова забродят, опять заревнует, в голову всякая дурь полезет. Бабы они ведь такие, у них ко всему *свое* примешивается. И решил не рассказывать, хотя его и распирало, очень уж хотелось и было досадно, что сам же себе запретил. Бережлив уж больно, с каждым готов считаться, а с ним кто посчитается? Кроме матушки ему рассказать больше ведь некому – не Саньке же, свистухе, та не поймет ничего.

Вот была бы рядом старшая дочь Павла, Павлина многомудрая, как апостол Павел, но та – далече. Обещала на Пасху приехать, и где она? Уж ни ее, ни Пасхи.

Да матушки и не было дома: пригласили к себе соседи на *имя Нины* (так матушка по-своему прозывала именины). Санька за стенкой зубрила к экзаменам. Он нашел в кастрюльках еду, разогрел и взял на себя грех – хлопнул рюмочку, раз никто не видит, а за ней и вторую. На душе взыграло.

Поздно вечером наконец заявились Вялый и Камнерез – в дом заходить не стали, а вызвали отца Вассиана на крыльцо, оба веселенькие, под градусом: видно, с братками выпивали. Отец Вассиан приготовил им суровый упрек: что ж вы, стервецы, обо мне последним вспомнили, не удосужились раньше прийти-доложиться, с дружками загуляли?

Хотя высказывать этот упрек не стал: слишком виновато и преданно на него смотрели, всем своим видом старались показать, что каялись. Но и он ведь на пристань к ним не вышел. Да и пару рюмок осушил одним махом. Поэтому, как говорится, квиты.

– Где запропастились-то? С кем выпивали?

– Так мы за вас. За ваших детей – за Александру, Павлу и… – Имя сына запамятовали, сердешные.

– За меня они… Гляди-ка. Ане забыли, как меня звать-то? Кто вас из зоны вытащил?

– Вы! Отец Вассиан!

– Зарубите себе на носу. И чтоб слушаться меня! Без моего приказа ни шагу.

– Как в Афгане.

– То-то же. Я много на себя не беру. Я не папа римский, не наместник Бога на земле. На суде Божием я для вас кто? Присяжный. Меня грешного Господь спросит, виновны вы аль нет. И как я отвечу, такой и приговор вам будет. А теперь расскажи, что у тебя с Витольдом вышло? – задал он вопрос Вялому, как задают в том случае, когда ждут лишь подтверждения того, что уже заранее известно.

Вялый стал оправдываться – на всякий случай, по привычке:

– Так он против меня пугач достал. Стал грозиться, лайдак занюханный.

– Сереженька, – произнес отец Вассиан с угрожающей ласковостью, – этот пугач – пуколка. Им мальчишки друг друга пугают. А ты и сдрейфил. В штаны наложил.

– Я ж поначалу не понял… – Отсутствие понимания Вялый записал себе в прикуп.

– И что же?

– Приголубил его пару разочков.

– Приголубил? – Отец Вассиан деланно обрадовался внезапному открытию. – Я так и напишу в отчете. В скобочках же добавлю: избил до полусмерти…

– Не бил я его.

– Матушка Василиса видела, Сереженька….

– Что она видела? Что? – с голубиным наскоком спрашивал Вялый.

Отец Вассиан произнес с загадочной отстраненностью:

– Видела, как ты кулаками махал. Или ты сейчас скажешь, что у тебя и кулаков-то нет?

– Как это нет – есть. – Вялый показал ладони, способные при необходимости стать кулаками.

– Большие?

– Какие потребуются.

– А убить кулаком могёшь?

Вялый мысленно прикинул, во что ему обойдется положительный ответ.

– Ну, могу…

– Вот матушка и сказала, что ты убил.

– Матушка Василиса?

– Не Василиса, родимый, а сама смерть курносая! Она нам всем матушка.

– Ну вы и скажете… – Вялый по достоинству оценил сказанное и еще больше зауважал отца Вассиана.

– Сереженька, милый, – с той же певучей угрозой сказал тот. – Если ты кого убьешь, я за тебя отвечать не хочу. И выгораживать тебя не стану. Поэтому в отчете все напишу как есть. И возвращайся-ка ты в зону. Хлопчиков на нарах пасти.

– Каких еще хлопчиков? – Вялый обидчиво засопел.

– Тех, которые клопчики… клопы, одним словом.

– Отец Вассиан… отец… – Вялый изобразил порыв сыновней преданности.

– Тамбовский волк тебе отец родной, а я так… отчим.

– Не погубите.

– Ах, не погуби! Вон как заговорил! Ты еще рыдван мне пусти – зарыдай тут. Ножик в кармане есть?

– Ножика нету… заточка.

– А заточка не ножик? Давай сюда. – Он нагнулся и сорвал лист лопуха, чтобы завернуть в него заточку и спрятать от греха за голенище сапога. – И знай, родимый: каждый божий день будешь передо мной не только душу, но и карманы выворачивать. Показывать, что там у тебя. Словом, сам шмонать тебя буду. И будь добр – фильтруй базар, особенно при посторонних. Дальше слушай: к Сермяжному ни ногой, иначе хвост прищемлю. На кирпичный завод у меня пойдешь – вагонетку по рельсам толкать. Вместе с дружком твоим Лехой Камнерезом. – Он обернулся к Лехе, стоявшему рядом, и надвинул кепку ему на глаза. – Дошло? До обоих дошло? И еще… – Он хотел сказать Вялому про Любу, но решил, что момент не совсем подходящий, да и Камнерез рядом стоит, безучастно моргает, а сам прислушивается. Поэтому и смолчал, но так, чтобы Вялый – не дурак – понял, о чем именно он молчит.

Часть третья

Глава первая
Что нам католики!

Перед самым отданием Пасхи, словно ему хотелось напоследок захватить (прихватить – приватизировать) пасхальные дни, к отцу Вассиану пожаловал Святослав Игоревич Ольшанский. Был он по виду моложавый, подтянутый, в талии узкий, к плечам широкий, при высоком росте слегка сгорбенный, с водянистыми голубыми глазами и гривой белых, льняного отлива, вьющихся волос, как у профессора Сорбонны или художника на Монмартре.

Еще издали, едва открыв калитку, сразу уведомил, предупредил:

– Простите, отец, но я с подарком. – Что-то держал за спиной, до поры до времени не показывал.

Отец Вассиан про себя удивился: что это за новая блажь? За подарки теперь оправдываться – извиняться – приходится. Но виду не подал и – гостеприимный хозяин – сохранил на лице приветливую улыбку.

– Что ж, дарите. Слуга покорный. – Себя изобразил покорным слугой на тот случай, если Ольшанский все-таки вы-

полнит обещание и пожертвует на ремонт придела Святой Троицы, как грозился когда-то (не за этим ли сейчас и пришел?).

– Мой подарок отчасти эгоистический. Не знаю, кому более приятен – вам или мне самому.

Крадущимися, игривыми шажками (шажочками), виляющей походкой, почему-то на носках, как балетный танцор, приближался.

– Что приятно вам, то мне особенно приятно. – Отец Вассиан изощрялся в не столь уж свойственной ему любезности.

– В таком случае примите… нет, не Духа Святого, ха-ха, а мою собственноручно написанную картину.

Сказал и сам себе польстил, от удовольствия даже зарделся, разрумянился.

– Так вы не только коммерсант, но и художник. Когда вы, однако, успеваете!

– Я много чего успеваю – даже заниматься греблей, верховой ездой, кикбоксингом и чем-то там еще. – Святослав Игоревич не стал продолжать перечень, чтобы не смущать лицо духовное своими светскими увлечениями. – Словом, немножко человек Возрождения. Даже волосы отрастил, как Рафаэль, – пошутил он в свой адрес, надеясь, что отец Вассиан и воспримет это только как шутку.

Он достал из-за спины картину в богато отделанной золоченой – с блестками перламутра – раме. Отец Вассиан из уважения к подарку долго ее разглядывал (и картину, и ра-

му).

– Пейзаж? Угадывается наша Ока… прибрежные камыши, катерок у причала…

– Не катерок… – Святослав Игоревич спешил поправить незадачливого зрителя картины. – Не катерок… гм… а песчаная коса ну и там… солнечные блики. Я, может, не очень умело изобразил.

– Напротив. Очень даже… умело. Просто я без очков… не все различаю.

– Хорошо, хорошо. Это еще не все. Примите и только что вышедшую книгу. Пожалуйте, с дарственной надписью. – Прочел размашистую надпись на титульном листе: – «Дорогому отцу Вассиану от автора – с почтением к сану, уважением к доброте, уму и множеству прочих достоинств».

Отец Вассиан посчитал за должное проявить скромность и отклонить столь лестный комплимент.

– Ну, не столь уж умен и добр, конечно, но спасибо. Поздравляю.

– Буду рад, если прочтете и выскажетесь. Оцените со всей взыскательностью.

– Непременно. Это ваша первая? Вы же раньше, помнится, книг не писали.

– Не писал, как вы верно заметили. Но тут, знаете ли, взяло за живое, и решил разобраться с кое-какими наболевшими вопросами. А то жена с сыном: что ты нам все за ужином об этом твердишь? Ты книгу напиши, раз такой умный. Вот

и написал, насколько ума хватило. Для жены и сына. Ну, и вам решил преподнести. И еще кое-кому, может, в Серпухове, стольном, так сказать, граде.

– Уж не владыке ли Филофею?

– Ему, ему.

– Он, правда, слишком обременен заботами и всякими обязанностями, чтобы за книгами успевать следить. Прочтет-то навряд. Но на полку уж точно поставит. На самое почетное место. Знакомы с ним?

– Бывал. Даже разок исповедовался. Слава богу, владыка поправился, а то все не принимал. Сидел взаперти. Травами от хвори отпаивали.

– И с какими же вопросами вы тут разбираетесь? Позвольте полюбопытствовать. – Отец Вассиан надел маленькие очки, чтобы внимательнее разглядеть книгу.

– Вопросами-то? Смею думать, церковными, но разбираюсь исключительно с позиций здравого смысла.

– Образование имеете?

– Коммерческое в основном, хотя много чего читал, самого разного.

– А благословение, надеюсь, взяли?

– Зачем? Я сам себе хозяин. Вольный стрелок.

– Да, сейчас новые хозяева жизни появились, но как же без благословения и соответствующего образования богословские книги писать? – Отец Вассиан с недоумением поднял рыжие треугольники бровей. – Простите, не совсем по-

нимаю.

Он озабоченно снял и спрятал очки.

– Я же не для издательства патриархии писал. Пороги не обивал, просителем никогда не был. Сам имею средства для издания. В средствах, слава богу, не ограничен.

Тут Вассиан Григорьев почувствовал, что самое время задать вопрос, давно вертевшийся на языке. Но для начала решил еще подбросить угольку в топку, поднажать и польстить:

– Большому кораблю, как говорится. Извиняюсь, что дерзаю напомнить. Вы обещали с ремонтом помочь – придела Святой Троицы. Внести свой вклад.

– Святой Троицы? Так я своей книгой вклад вношу. В осмысление, так сказать… – Ольшанский позволил себе улыбнуться, намекая, что один и тот же вклад может быть с одинаковым успехом внесен в разные области.

Но отец Вассиан не уловил намека.

– Ну, а в материальном смысле? Денежном?

Тогда Ольшанский, сохраняя на лице улыбку, понизил голос и произнес с внушительной серьезностью:

– Составьте мне смету. Пожертвую на ремонт, как обещал. И вот еще что… новый мерседес освятить хотелось бы. Тот, что пока в гараже стоит. И нас с женой повенчать, если можно. Брак-то у нас законный, но, увы, не церковный. Вот моя любезная Жанна Васильевна и сетует: как же так, мол, не венчаны, отстали от моды. Она хотела у католиков венчаться, но я отговорил. Все-таки православие нам ближе.

Что нам эти католики!

– Повенчаем вас с женой. А сынок крещеный? Яшка-то?

– Он у меня не Яшка, а Ян, польское имя. Он тут с нашими поляками – Казимиром и Витольдом подружился, теперь не разлей вода. Во всем – полнейшая солидарность. Собираются митинг устраивать за Чечню. У меня самого – частичка польской крови.

– Вот мы окрестим, повенчаем и освятим. На освященном мерседесе всем семейством из Храма в новую жизнь и покатите. – Отец Вассиан уже думал о смете и про себя что-то прикидывал, подсчитывал. Поэтому и не слишком заботился о своих словах и особо не выдерживал тон.

Святослав Игоревич же именно к словам был особенно внимателен и придирчив.

Он не каждому позволял многообещающие посулы и не всякое пожелание с готовностью принимал. Вот и сейчас с усмешкой (усмешечкой) якобы вскользь заметил:

– Да она у нас и так новая. Новая, как мехи для молодого вина. Куда уж новей-то. Наполняй под завязку – не лопнут.

И как занятой человек, у которого еще много дел, поспешил откланяться.

Глава вторая
Новая критика готской программы

Проводив Ольшанского, отец Вассиан полистал подаренную книгу, даже углубился в некоторые страницы, отчеркнул что-то (ковырнул) ногтем и поставил на полку – временно, с краешку (постоянное место еще не определил). Затем стал искать, куда бы повесить картину – так, чтобы не рядом с иконами, а поодаль, на почтительном расстоянии.

Вот, скажем, сбоку от шкафа (примерил). Или над диваном (прикинул). Признаться, картина ему не слишком нравилась: так, любительская мазня с претензией на самобытность. Спрятать бы ее подальше, засунуть на чердак, но нельзя было: Ольшанский, конечно, рассчитывал, что картину повесят, и на самом почетном месте, иначе не вставил бы ее в такую роскошную раму и не позаботился бы о петельках для веревки, шурупчиками привинченных к подрамнику.

Поэтому куда деваться: не повесишь – смертельно обидится, посмуреет и, чего доброго, откажет в деньгах для ремонта придела Святой Троицы. А этого допустить никак нельзя: Святую Троицу надо срочно ремонтировать, латать, обновлять. Причем мелкой косметикой тут не отделаешься. Необходим капитальный ремонт: поднимать полы, штукатурить и заново красить стены, менять подгнившие оконные рамы. И, главное, проводить отопление, чтобы можно было зимой –

даже в крещенские морозы – исправно служить.

И утварь подкупить придется, облачения, особенно праздничные, торжественные, золотым шитьем шитые, а то батюшки, как бедные родственники, в чем попало подчас Пасху встречают. Да и у самого отца Вассиана ряса поизносилась, епитрахиль истерлась, поручи моль пожрала, медный крест от времени потускнел.

Словом, столько всякой мороки, что невольно думается: Иерусалимский Храм легче было восстанавливать. Хотя тогда именем Святой Троицы приделы не нарекали, Троица еще только угадывалась, грезилась, в пророческих снах являлась.

– Что это, отец, ты срамоту такую на стену вешаешь! – Матушка Василиса несла с кухни чистые тарелки, чтобы поставить их в буфет, но невольно приостановилась, скептически озирая картину.

– Какая ж срамота? Наш бобылевский пейзаж, река Ока изображена.

– На эту Оку глаза бы не глядели.

– Ладно, не критикуй. Кто художник-то знаешь? Ольшанский!

– Сам, что ли, изваял?

– Не изваял, а написал. Это тебе не скульптура. Вечно ты слова не так ставишь. Следи за собой. Фильтруй базар.

– Тоже мне священник – фильтруй базар. Денег-то даст твой скульптор?

– Велел составить смету. – Он притворно вздохнул, скрывая радость от предстоящего составления сметы.

– А что за книгу ты листал?

– Он написал.

– Тык он еще и книги пишет?

– Тык-тык – вот тебе и втык, – осердился, осерчал на что-то отец Вассиан. – Хозяин – барин. Я вон не знаю, куда свои записки пристроить, а он мигом издал. Если мошна полна, почему бы не тиснуть. Теперь с деньгами все доступно.

– Что ж ты не богатеешь?

– Вот насела. Сказано тебе: душу берегу. И ты мне не перечь со своим богатством.

Матушка Василиса по опыту знала, что разговор о богатстве и душе лучше не продолжать.

– Книга-то хорошая? Или такая же срамота, как и картина?

– Срамота, мать. Срамота. Ты ему только не говори.

– Не скажу, отец. Умишка чуть-чуть имею. Что там срамного-то?

– Вот ты имеешь умишка-то, а он умишком и не вышел. Между нами, совсем дурачок. Может, по части коммерции преуспел, деньгу сшибать научился, а в богословских вопросах самоуверенный малец. Ничего не смыслит. Разбирается, как твоя свинья в апельсинах.

– Ты моего порося тоже не тронь. – Матушка усмотрела в сказанном намек на поросенка, повизгивавшего и хрюкав-

шего у них в сарае. – Зачем же он за книгу взялся, твой Ольшанский?

– Видишь ли, у него тут свой резон, как я понимаю. Своя подоплека. Живет он в достатке, особняк за высоким забором, подземный гараж, автопарк, зимний сад, спортивные тренажеры, роскошные апартаменты. У каждого – своя спальня, свой унитаз, своя ванна. Во дворе – конюшня с ухоженными скакунами, у причала – байдарки для гребли. Причем территория вокруг огорожена, всюду охрана поставлена – словом, все есть. Новые мехи под завязку наполнены молодым вином, как он сам говорит. Живи и радуйся. Наслаждайся своим богатством. И все бы хорошо, но тут какое-то православие под боком… адскими муками стращает, наказанием за грехи, совесть язвит, наслаждаться мешает. Вот и надо с ним разобраться, а как? Наш дурачок-то и придумал. Евангелие полистал, покумекал и книжонку накатал. И цель этой книжонки – расчихвостить православие с позиций здравого смысла. Все библейские ужасы, зловещие пророчества, трубы ссудного дня, геенну огненную обратить в страшилки. И все это для того, чтобы нынешнему богатею-предпринимателю, новому русскому в его красном пальто, вольготно и спокойно жилось. Чтобы ничто его не язвило, не обличало. В этом смысле книжонка – манифест, а он, автор ее, – идеолог, выразитель целого класса, Карл Гот.

– Какой еще Карл Гот?

– Тот, который Карл Маркс, критик готской программы.

– Ох, умен ты у меня, отец.

– Да уж ладно…

– И в богословии, и в марксизме подкован. Зришь в самый корень. Тем меня и купил когда-то. – Матушка умилилась и слегка разомлела от нахлынувших воспоминаний. – Ты бы еще Саньку нашу о теперешних готах порасспросил: у тех тоже своя программа.

– Это о тех, что по кладбищам ночами шастают?

– Вона. Ты и без Саньки все знаешь. Ох, ученый! Ох, ученый! – Матушка взялась за голову, удивляясь учености мужа.

– Не хвали. Не заслужил. Есть ученее меня.

– Кто ж это?

– А хоть бы Евгений Филиппович Прохоров. Он из Питера недавно прибыл.

– Любкин брательник?

– Ну, брат, брат…

– Так у них отец до белой горячки допился. Все Прежнему салютовал.

– Какому еще Прежнему?

– Тому, который Брежнев, а заодно и маршалу Устинову Дмитрию Федоровичу, министру нашему бывшему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.